

Северо-Казахстанская область
Центр «Асыл мұра»

МАСТЕР ЧЕКАННОГО
СЛОВА

100 лет со дня рождения
Габита Мусрепова



Петропавловск - 2002

Северо-Казахстанская область
Центр “Асыл мұра”

Составители:

Галым Кадыралы, Кайролла Муканов,
Социал Жумабаев.

МАСТЕР ЧЕКАННОГО СЛОВА

100 лет со дня рождения Габита Мусрепова
(Биографические сведения и избранные
произведения).

Редактор: Б. Кожаметов

Ответственный за выпуск: К. Муканов

Петропавловск – 2002 г. – 125 стр.
ISBN 5-7667-9717-6

©Петропавловск - 2002
Северо-Казахстанская область
Центр “Асыл мұра”



G. Myerovich

СЛОВА О ГАБИТЕ МУСРЕПОВЕ

“Габит Мусрепов – славное имя. Значение единственного слова “Мусрепов” гораздо глубже, содержание значительно богаче, чем тысячи слов о Мусрепове. Следовательно, не нужно хвалить Мусрепова. Нужно гордиться Мусреповым”.

Зейнолла Кабдоллов.

“Пробужденный край” – это замечательная книга большой художественно-познавательной силы, крупное достижение казахской прозы и большого зрелого таланта, внесшего в золотой фонд нашей литературы еще один ценный вклад”.

Мухамеджан Каратаев.

“В долголетней и плодотворной писательской работе Габита Мусрепова мне хочется отметить его жестокую требовательность к себе, его взыскательное отношение к слову, которое ставит его в первый ряд стилистов. Такой писатель определяется коротким и неисчерпывающим понятием – мастер”.

Иван Шухов.

“Не всякому дано годами обрести устойчивую, неподвластную разного рода влияниям и

соблазнам способность видеть явления и события в истинном свете, оценивать их по достоинству, называть всегда своими именами, Габиту дано”.

Дмитрий Снегин.

“Габит Мусрепов как большой писатель, и как личность — человек, сыгравший выдающуюся роль в истории казахского народа”.

Муслим Базарбаев.

“Габит Мусрепов — истинный художник — никогда не шел легким проторенным путем. В его произведениях нет лишних, ничего не говорящих сцен. К тому, что написано Г.Мусреповым, невозможно ничего ни прибавить, ни убавить. Он умсет найти слово — единственное и необходимое”.

Георгий Ломидзе.

“Габит Мусрепов всегда удивления достойная личность”.

Абдижамил Нурпеисов.

“Габит Мусрепов ни себя, ни других не повторяет”.

Такен Алимкулов.

АФОРИЗМЫ Г. МУСРЕПОВА

1. “Почему я начал писать?.. Я не могу ответить, - так же как, если бы у меня спросили: почему именно я, а не кто-то другой, родился в ночь Наурыза, когда год Коровы уступил место году Барса”.

2. “Нет для вольного степного народа никого выше акына-поэта, которому дано от Бога так слагать стихи, что давно знакомые слова обретают неожиданный смысл, поэта, которому предоставлено право судить людей и их поступки – будь ты последний бедняк в худом чапане, будь ты сам султан. Он судит их в своих стихах, которые народ хранит потом в своей памяти, и они тревожат или утешают, зовут, будят...”

3. “Каждая новая книга для писателя, каждая новая встреча с читателями – это невосполнимая частица его жизни, его души”.

4. “Я знаю то, что знаю я. Знаю, что сегодня вся земля принадлежит нам и ее надо беречь, и друг друга надо беречь, независимо от того, кто где родился, где вырос, где живет, и помнить слова нашей общей матери Хаувы – Евы: “...Я не хочу, чтобы он или кто-то другой из моих детей стремился возвыситься над остальными, попирать их...”

5. “Мне всегда представлялась нерасторжимой связь событий в судьбах поколений. Но обращение к прошлому, без которого и настоящее не могло бы наступить, иные недальновидные или слишком дальновидные критики, в угоду скороспелой моде, постарались объявить уходом от действительности, как будто писатель может куда-то скрыться от своего времени”.

6. “Каждый должен назначить себе высоту, которую он стремится достичь. Но даже если ты не достигнешь ее, все равно — пусть осенит тебя высшая цель”.



АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЙ РАССКАЗ

Как определить время моего появления на свет? В нашей семье на этот счет не сразу пришли к согласию. Был Наурыз. В ту ночь сильный барс, чей год только начинался, мягким прыжком сменил год коровы. Если к нему, минувшему, отнести рождение, то мне выходило владеть несметными стадами и пройти свой путь в добре и довольстве. А может быть, лучше обладать силой и повадками барса, на которого мало кто рискнет напасть первым?

Забегая далеко вперед, я должен сказать, что ни то, ни другое у меня не сбылось. Я не стал владельтельным скотоводом. Не отрастил таких клыков и когтей, которые уберегли бы меня от нападков и неприятностей.

Но все это выяснилось значительно позже. А первый мой день не был отмечен никаким выдающимся событием в небольшом ауле на северной окраине казахской степи. Не произошло землетрясения. Не случилось затмения луны или солнца. Не задул буран, который оставил бы след в памяти своей особой свирепостью. И даже собаки, вопреки обыкновению, не затевали драк из-за лакомых костей.

Правда, тогда все это меня не касалось. Не касалось, кто царь на земле, где мне предстоит прожить жизнь, и кто пророк, чье слово предопределяет судьбу человека, все его поступки, радости, огорчения. Безразлично было, кто всемогущий управитель волости. Я не придавал также значения и тому, богаты мои родители или бедны.

Как я теперь понимаю, моему приходу в этот мир никто особенно не радовался. Просто семья и без того многодетная увеличилась на одного мальчишку. Не ломали долго головы и над тем, как его назвать. Есть Хамит, старший. Сабит уже есть. По созвучию третьему сыну дали имя Габит.

Моя мама изредка вспоминала:

- Упрямый был...Никогда не плакал, даже если хотел есть.

Большая жизнь обходила наш аул стороной. Она доносилась лишь бойким перезвоном колокольцев. Тройки к нам не сворачивали. По санному следу, по чернотропью они проносились мимо, в аул старого Торсана — от нашего часа ходьбы пешком. Один из его сыновей был волостным управителем, а двое тоже занимали какие-то выгодные должности.

О том, что наш аул раньше стоял не на отшибе, мы узнавали из рассказов стариков.

Старики осуждали нынешний образ жизни, их выцветшие глаза загорались и распрямлялись плечи, когда они начинали вспоминать о шумных многолюдных тоях, о скачках с богатыми призами, о храбрости и удалстве джигитов нашего рода, которые неизменно выходили победителями из разных схваток и столкновений. Старики сожалели, что в прошлое отошли времена больших кочевий, когда аул на долгие недели снимался с места и уходили мерять немерянную степь.

Уже стихал залихватский напев бубенцов, но продолжались разговоры, вызванные его появлением.

— От этих гостей добра не жди, — вздыхал Рахмет, человек робкий и немногословный, чья семья даже для аула считалась большой.

— Да, — соглашался с ним его младший брат Кожак. — От такого гостя не отделаешься тем, что зарежешь барана к его приезду!

— О, алла! — продолжал Рахмет. — Я думаю — поехали за недоимкой, проверять, кто сколько остался должен... Эти поборы!.. Эти подати! Посчитать бы только по нашей волости — целая семья, даже такая, как моя, могла бы сытно

прожить десяток лет. Что же царю и его домашним все не хватает?

Кожак насмешливо шурился:

— О, старший брат мой!.. Если бы только одна наша волость! Таких волостей у белого царя — тысячи и тысячи.

— Кожак, ты, наверное, ошибаешься, — высказывал сомнение Досан, он неизбежно путался, если надо было сосчитать что-нибудь свыше десяти. — Столько аулов, столько волостей на всем свете не наберется!

— Ну, да! Ты бы поездил, мой Досан, посмотрел...

Кожак в ауле бывал не часто. Он давно уже работал в Кургане — грузчиком, его мир был гораздо шире, чем у тех, для кого поездка в недалекую Пресновку становилась событием. К словам Кожака прислушивались, хоть они порой звучали неожиданно и резко.

Разговоры обрывались так же неожиданно, как и возникали, — что толку жаловаться, если твои жалобы никто не слышит, а если и слышит, то оставляет без внимания. Если же Кожак начинал говорить о земной несправедливости, то Рахмет или Досан привычно кивали головой: так уж устроен мир. Все от бога. И не их ума дело разбираться во всех этих сложностях.

...У моего отца была заветная мечта, которую он вынашивал с юношеских лет: разбогатеть! Но, несмотря на все усилия, его хозяйство напоминало коржун, навьюченный на шального необъезженного стригунка. Он мечется из стороны в сторону, и коржун мотается у него на спине, а то и вовсе падает на землю от какого-нибудь резкого скачка.

Иной раз нам удавалось приблизиться к достатку, и отец ходил счастливый и гордый, и даже голос у него звучал по иному. Но недолго. Всегда что-нибудь случалось: грозная оттепель в начале зимы, когда все тает, а потом мороз образует непробиваемую корку на пастбищах — джут. Или всплывала старая недоимка. Или повышался налог. Глаза у отца становились рассеянными. Казалось, он смотрит куда-то вдаль, стараясь не замечать наступившей под боком нищеты.

В таком положении — мы, мальчишки, имели по одной рваной рубашке — оказалась наша семья, когда подошло время свершать обряд обрезания, установленный самим пророком задолго до того, как мои братья и я появились на свет.

Мне было четыре года или немного больше, когда нашу юрту навестил рыжебородый мулла.

Шапка у него тоже рыжая, она нахлобучена до самых бровей, и, наверное, от этого лицо муллы кажется зловещим. Он достает нож и начинает деловито точить его, поплеывая на брусок.

Нож его без того был острый. Только вчера вечером мы видели как мулла, по обычаю, одним движением срезал ухо с головы барана, заколотого ему на угощение, еще раз шевельнул ножом, и второе ухо тоже срезал.

Под непрерывное жиканье ножа мы трое примолкли и тревожно следили за холодным блеском стали в руках муллы. Наши родители наперебой расхваливали своих сыновей, словно кому-то навязывали их в работники. По словам отца и матери выходило, что не было еще на всем свете таких умных и послушных, таких терпеливых и бесстрашных мальчиков. И если только Хамит, Сабит и Габит не будут противиться свершению таинства, то каждый из них получит по скакуну. Это пообещал отец, он в ту пору разработал очередной безошибочный способ быстрого и легкого обогащения. А мать говорила, раз мы сегодня станем совсем большими, то, значит, можно отдавать нас в школу.

Она постелила у стены одеяло, взбила

подушки, прежде чем их разложить. Мулла ногтем попробовал лезвие и, видимо, счел его достаточно наточенным. Рыжебородое лицо стало сосредоточенным, строгим. Он положил нож рядом с собой и стал выпевать молитвы.

Мне хотелось иметь обещанного скакуна. Мне хотелось в школу. И все же, когда Хамит, подмигнув нам, первым выскользнул из юрты, я незаметно последовал за ним.

Небольшая роща защитила нас от дождя. Я соображал – о каких скакунах говорил отец? Возле нашей юрты можно было увидеть одну-единственную старую лошадь чалой масти. Так вот, Чалка как награда за обрезание может достаться лишь одному. А двое других? Может быть, для двоих исполнение обряда отложат, пока не будет у нас табуна, отец думает приобрести табун к осени, не позднее.

Но стоило высказать эти мысли вслух, как Хамит тут же меня оборвал:

– Вот еще! Ждать... Говорят, если мальчику не сделали обрезания, то и жениться нельзя!

Сабит ему возразил: ну и пусть нельзя жениться, вот еще удовольствие – возиться с плаксами-девчонками! Я поддержал Сабита, но старший брат презрительно хмыкнул, обозвал нас несмышленными глупыми дураками и

собрался для поучения отвесить каждому по затрещине, но тут...

Чьи-то уверенные и ласковые руки сгребли нас в охапку, нос к носу...

На одеяле в юрте мы лежали по старшинству. Хамит – первым, с того края, что ближе к теру, Сабит посередине, а я – ближе к выходу.

С какого края начнет мулла. Если бы от двери! Первым у меня он спросит: “Какой масти твоя лошадь обрезания?” Я тотчас, чтобы никто не опередил, отвечу: “Чалка!” Пусть тогда братья обхаживают меня, хоть я и младший, и просят дать прокатиться на моей лошади... Я буду им позволять, но не так часто.

Сабит сообразил, что в самом невыгодном положении находится он. С кого бы мулла ни начал, он все равно окажется вторым. Он захотел поменяться со мной местами, но я в ответ лягнул его, чтобы не приставал. Он стал щипаться и страшным шепотом пообещал потом свести со мной счеты за такое неуважение.

Но зря мы с ним препирались. Мулла, как и положено, начал со старшего.

– Скажи, сын мой... Назови масть лошади,

масть твоей лошади, которую ты оседлаешь на праздник в честь древнего торжественного обряда.

— Чалка! — ответил Хамит, и голос его звучал радостно, но тут же он взвыл от непереносимой боли.

Мулла со спрятанным в рукаве ножом еще и не подошел к Сабиту, а тот уже принялся всхлипывать. Но оказалось, что не от предчувствия боли.

— Нет! Нет! Нет у меня лошади-и-и!..

Он судорожно вздрагивал всем телом и вопил во весь голос и продолжал вопить, когда мулла, сделав свое дело, присел на корточки возле меня.

Плакала тихонько и мать. Она переживала нашу боль, сочувствовала нам, кляла черствую бедность, из-за которой они с отцом нанесли сыновьям невольную обиду. в такой знаменательный день.

А мне было все равно.

— У меня тоже нет никакой лошади, — сказал я и решил: как бы ни было больно, ни за что не плакать.

И я не плакал.

Грустно вздыхал, сидя у сундука, и брат отца — дядя Ботпай. Он не удержался и упрекнул муллу:

- Зачем было трижды задавать вопрос о лошадях, - вы ведь, молла-еке, заранее знали, что ответ будет один.

- Так положено не нами.

Мулла недовольно пожал плечами, спрятал свой нож и ушел.

А дядя Ботпай утешал нас:

- Не плачьте, не терзайте мое бедное сердце... Я — я куплю вам скакунов, самых резвых, какие только есть в степи, не знающих усталости. Разве от вашего негодного отца дожدهшься? Разве будет у него табун? Ничего ему не видать, кроме старой Чалки!

Можно было бы обидеться на дядю Ботпая за его плохие слова про отца. Но какие тут обиды? Тем более, что и отец улыбался вместе с нами. Значит, тоже обрадовался, что дядя Ботпай подарит нам лошадей, которые могут поспорить с ветром.

...Случалось, навестить родителей приезжала Батима — дочь Ботпая, отданная замуж в другой аул.

Она привлекала не красотой, красивой нельзя было ее назвать. Но у меня в памяти и по сей день не стерся ее живой облик. Женственная, обаятельная... А что в ней казалось совсем необычным, так это чувство полной

независимости, - редкость для женщины старого и, скажем, не только старого аула.

Своих детей Батиме бог не дал. Помню, мы, мальчишки, роились вокруг нее, и она всегда занималась нашими делами: утирала разбитые носы, мирила поссорившихся, потому что никто не мог противостоять ее уговорам и просьбам, утешала обиженных, выговаривала виноватым.

Приезды Батимы нарушали однообразие аульной жизни вовсе не потому, что она любила возиться с ребяташками.

Стоило ей взять домбру, и самые простые, давно известные всем мелодии таинственным образом обретали новую жизнь, будто впервые их слышишь.

Она не только играла, но и пела. Я и сейчас могу при желании услышать ее звучный бархатистый голос, закрыть глаза – и очутиться на берегу озера Кожабай, заросшего тальником и камышом. Широкая багровая полоса заката уходит далеко от берега, туда, где чистое, незаросшее пространство.

Батима играет на домбре, а Ботпай – на кобызе. Играть согласно на двух этих инструментах, кроме отца с дочерью, у нас никто не умел. Батима играет так, словно она одна на берегу, и никого около нее поблизости нет. А ведь вокруг

собралось множество людей из аулов, которые переключиваются сюда, к озеру, на джайлау.

Я чувствую и другое: волнение толпы, пораженной всегда, словно впервые, ее даром, передается Батиме, а через ее пальцы – струнам домбры... И молодая женщина вся светится, хотя солнце уже село, и потемнела вода, и рядом перешептываются камыши.

Теперь я вспоминаю, что тогда, пожалуй, мне впервые пришлось столкнуться с тем, как остро может ранить чужой талант и насквозь пронзить чужой успех. Среди слушателей сидят и другие музыканты. Вернее, они сами себя считают музыкантами. Домбра, та же домбра, в их руках скучно дребезжит, вызывая одно раздражение. Кто-то из них слушает, придав лицу презрительную недоверчивость. Кто более честен – становится маленьким, опустошенным на все время, пока домбра не смолкнет в руках Батимы.

Наступившую тишину вдруг нарушает чей-то голос:

- Да-а... Тут сразу видно, что без обмана... Что Батима – действительно дочь Ботпая!

Ботпай в таких случаях гордо посматривал по сторонам. Его небогатая юрта притягивала людей. Раздавались прекрасные песни Ахана и Биржана, которые привозила с собой Батима, звучали то

задумчивые и печальные, то бурные, зовущие в дальнюю дорогу мелодии Арки.

Ботпая мы обязаны еще одним увлечением. В те годы к нам приходили дастаны, изданные в Казани, Уфе и Ташкенте. Удивительное дело, книги, как и люди, вызывали к себе разное отношение. Кто-то по своему простодушию мог увлечься и легендой по названию “Сал-сал”. Там в самых возвышенных тонах воспевались походы Али, одного из ближайших сподвижников пророка. Али даже породнился с семьей Мухаммеда, женившись на его дочери. По мнению людей, сложивших эту легенду для широкого чтения, сусальные слова в честь Али, безудержное восхваление его мудрости и доблести, — вот что должно укрепить веру, рассеять сомнения у простого народа.

Но дядю Ботпая обмануть было трудно. Его постоянными, глубоко почитаемыми друзьями стали “Кыз-Жибек”, “Козы-Корпеш” и “Кероглы”. Заучивать остальное он, видимо, считал занятием недостойным, пустой тратой времени.

Ботпая нельзя назвать исполнителем в обычном смысле этого слова. Он пересказывал произведения по-своему. Он высказывал свое отношение к ним. Помню, читая “Козы-Корпеш”, он яростно вскакивал и начинал

последними словами поносить Кодара за его коварство, за то, что он на каждом шагу старался воспрепятствовать счастью влюбленных. “Встретился бы он мне!” – кричал дядя Ботпай.

“Кыз-Жибек”... По ходу пересказа он не раз останавливался и с негодованием говорил:

- Это наследили своими грязными лапами всякие невежды. Всякие муллы, ходжи! А раньше в народе было вот так, как я сейчас вам прочту...

И на ходу вносил поправки. Или же делал нравоучительные отступления.

“Кыз-Жибек”... Вот молодая женщина резко, насмешливо отвергает обычай, по которому жена умершего достается кому-нибудь из его братьев. Жибек не успела оплакать своего Толегена, а его младший брат Сансызбай уже домогается ее.

Он слышит в ответ:

“Мальчик ты бедный!

Что тебя заставляет лезть под одеяло,
Которым твой старший брат укрывался?”

Ботпай произносил это неторопливо, давая возможность каждому вдуматься в горький смысл этих слов. Если же среди слушателей находились такие, что взяли за себя после смерти старших или младших братьев их жен, то Ботпай прерывал рассказ и обращался прямо к ним:

- Это про вас! Это про вас, низких скотов, говорит Жибек!

Те краснели и растерянно улыбались.

И вот тут бы мне привести пример, как кто-нибудь из них, устыдившись, расстался с женщиной, еще сохранившей память о сильных объятиях того, кто ушел навсегда... Но, к сожалению, такого примера я привести не могу. Ботпай кончил свой рассказ, все расходились по домам, и все шло как и раньше.

Несмотря на это, Ботпай и Батима помогли мне увидеть, какую все же власть имеет над людьми искусство. Там, на берегу озера Кожабай, или в ауле, возле юрты Ботпая, люди становились лучше, чище, и если домбра, кобыз не могли мгновенно изменить их представлений о жизни, то все же два врага, разругавшиеся насмерть, могли спокойно сидеть рядом и слушать...

Такая власть не шла ни в какое сравнение с жестокой властью волостного управителя, судьи или несговорчивого сборщика податей, который приехал проверить их уплату и может увести от юрты последнего барана.

...Мы ходили к мулле три лета и две зимы, и я познал хитрости арабской грамоты, читал народные предания и мог сравнивать тексты с тем, как их пересказывает дядя Ботпай. Отдельные

отрывки я и сам был в состоянии воспроизвести наизусть, но при всех на это не решался.

Отцу удалось поправить дела. Большим табуном, правда, он не обзавелся. Но свершись обрезания в то время, каждому из нас – трех братьев – досталось бы по лошади, чтобы покрасоваться на празднике. Новые рубашки и мулле по четвергам – не по две, а по три копейки, пусть знает, что мы не нищие.

Отец победно, с видом “а что я говорил”, посматривал на всех, а у матери прорывались тяжкие вздохи. Она по опыту знала, чем обычно сменяется такое относительное довольство. И, к сожалению, дурные предчувствия ее не обманули.

Наступил год кабана. Он принес джут. Говорили, джут послан нам за грехи наши, за то, что мы прогневили аллаха. Я тоже так думал и повторял эти слова за взрослыми, хоть и не чувствовал за собой какой-то особой вины, и тоже называл год кабана проклятым из самых проклятых.

Вспоминая о тех днях, я понимаю, что в тяжелом бедствии была повинна и наша беспечность. Взяв за пример богатую родню, мы слишком задержались на джайлю. Но родня-то нанимала работников и позаботилась заготовить

сено. Когда мы все перекочевали на предзимние пастбища, то оказалось, что скот кормить нечем. Засуха пожгла травы, и они превратились в труху от копыт животных, бродивших в поисках пищи. А осень только начиналась, и впереди была долгая северная зима.

Занятия в школе прервались. Нечем стало платить мулле. Он уехал.

Наша семья была большая — шестнадцать человек. Но только четверо — работники. Все остальные либо дети, либо старики, уже не способные вскинуть на плечи мешок, притащить большую вязанку хвороста или загнать отбившуюся лошадь.

Голод поселился у нас и стал самым главным хозяином в доме. Мне он представлялся в образе скелета, и по ночам я прислушивался — вот он хищно щелкает зубами, вот он, как ветер в окно, постукивает костяшками длинных пальцев. Он пялил на меня из темноты свои черные глазницы и злорадно подмигивал.

Зима наступила, и трое взрослых ушли к чужим порогам в батраки. Овцы, козы, коровы, лошади дошли от бескормицы. И ничего нельзя было сделать, и никто не мог помочь!

Почти половину нашей землянки занимала громоздкая печь. Постоянно кипела вода в чугуне

и громыхали голые кости. Кости и кожа, мясо павшей скотины, костный жир, который в хорошее время вытапливали для варки мыла, - все шло в котел.

Хамит с Сабитом приспособились, и я не отставал от них: когда из костей вываривается костный мозг, то капли жира плавают сверху и постепенно собираются по краям чугуна. В комнате полумрак от постоянного пара — и вот, улучив удобную минуту, когда взрослые отвернутся или выйдут, мы быстро снимаем жир ложками, припасенными заранее. Угроза наказания не может нас остановить. Застань нас кто-нибудь из домочадцев за этим занятием, быть бы нам битыми. Но ложка навара стоит самой жестокой кары.

Чай пили белый. Так, очевидно, для самоутешения, назывался кипяток. И все равно мы с нетерпением ждали этой минуты: к чаю полагалась жареная пшеница. Бабушка распределяла — взрослым по две ложки, а детям по одной.

Настороженные взгляды были прикованы к бабушкиным рукам.

-Зачем ты трясешь ложкой?..

-Глубже, глубже черпай!

-Да, когда очередь доходит до меня, твоя ложка всегда скользит по самому верху...

Узловатые старческие пальцы мгновенно решали: кому добавить полнаперстка, из чьей доли – справедливости ради – стряхнуть несколько зернышек... И все это тут же отражалось в глазах людей, собравшихся за чаем.

Мы, дети, старались подсесть к бабушке поближе, угодливо заглядывали ей в глаза, а вечерами, перед сном, наперебой почесывали ей спину. Мы хорошо усвоили, что благополучие наших желудков полностью зависит от ее расположения или нерасположения.

Если же бабушка сердилась на кого-нибудь из нас, то был ведь дедушка, был отец... Заискивающе улыбнуться, вовремя подать пиалу с чаем, предупредить: ты осторожней, а то пшеница у тебя рассыплется... Десяток зерен за это иной раз удается получить.

Но чем дальше тянулась зима, тем напряженнее становились взаимоотношения за едой. В глазах взрослых я улавливал тоскливое безразличие, и все меньше выпадало добрых минут, в которые к ним можно было подластиться.

Иногда, подавая кому-нибудь из старших чай, рукавом заденешь, словно ненароком, его кучку пшеницы.

-Куда? Куда тянешь?! — послышится злой окрик, и большая рука ревниво подбирает все до зернышка.

Вздохнешь и начинаешь делить свою долю на семь-восемь частей, лишь бы растянуть чаепитие. Чего-чего, а кипятку в чугуне хватало всем. Хлебай, сколько влезет, и никто слова тебе не скажет.

Там, где много народу, а еды мало, неизбежно и часто возникают недоразумения, и каждому кажется, что обойден, обижен, обделен именно он. Голод страшен тем, что он отчуждает даже близких.

Нам стало тесно и неприятно под одной крышей. Отец был вынужден отделиться. После долгих переговоров, взаимных обвинений, попреков, ссор нам досталась одна овца, яловая корова со сломанным рогом и полуторогодовалый стригун, мухортый.

Делать было нечего — отец отдал в батраки Хамита, потом и Сабит ушел к чужому порогу.

А года через полтора наступила и моя очередь.

В Семиозерном я пас дойных коров. В другом русском поселке, в Исаевке, ходил на выгонах за

смешанным стадом. Но все это находилось поблизости, и нередко мне удавалось побывать дома.

...В то лето тысяча девятьсот шестнадцатого года казахов начали призывать на тыловые работы, и к нам неожиданно приехал гость — родной брат матери.

Он рассказал, что придется идти и ему, и нужен кто-то, кто помогал бы по хозяйству. У него двое ребятешек, еще маленьких, и жена не может отлучаться из дома. Он уговаривал родителей отпустить меня к ним в аул.

И мать, и отец подумали, что все же в доме родственника — не то, что в чужом. И отпустили меня с ним в Кустанайский уезд. Так далеко от родного аула я еще никогда не уезжал.

В их краю аулы селились вдоль речки Убаган. Низкие серые землянки зимовок были здесь те же, что и всюду, но образ жизни люди вели несколько иной. По старой памяти они откочевывали на джайляу, но всего километров за пять, не дальше. Здесь уже давно занимались земледелием, и посевы требовали постоянного присмотра.

Я попал к своим нагаши как раз во время уборки урожая и с утра до позднего вечера

проводил в поле, учился вязать тугие снопы, гонял лошадей по кругу во время молотбы...

Полевые работы наконец все были кончены, но время отдыха не наступило.

Лов рыбы тоже входил в занятия этого рода. Вместе с другими ребятами и пожилыми мужчинами я плел из камыша длинные, в два человеческих роста щиты. Мне показали, как надо плести: к толстому концу стебля подкладывается тонкий, снова толстый, и так до бесконечности.

Лед на реке достиг толщины в два пальца. Мы продолбили его и перегородили речку щитами. В четырех или пяти местах были оставлены проходы, и в них расположены ловушки, плетеные восьмеркой. Каза (смерть) назывался такой способ. Шла ли рыба вверх по течению, или вниз, - она не могла миновать ловушки.

Не знаю, как сейчас, а тогда в Убагане водилось много рыбы. Только успевай вытаскивать! О стылый лед отчаянно шлепались, били хвостами, а потом затихали щуки, окуни, сазаны, лещи, караси. Особенно долго не могли примириться со своей участью шустрые чебачки. Но успокаивались и они, и в лучах холодного зимнего солнца отливали серебристой синевой, как закаленные в ледяной воде клинки кавказских кинжалов.

К середине зимы на продажу и в запас было наловлено достаточно рыбы, и наступила передышка.

В соседнем ауле находилось двухклассное русское училище. В декабре, не по правилам, красноносый учитель принял меня в первый класс. Я не могу вспомнить его имени, кажется, он был откуда-то из-под Актюбинска. Но я не забыл размера взятки: шесть рублей – это четыре пуда рыбы, той самой рыбы, которую мне приходилось собирать по утрам, когда река дымилась от мороза, а встававшее над степью солнце было багрово-красным.

Вскоре красноносого учителя уволили. Тогда мы и познакомились с Бекетом Утетлеуовым. Я могу сказать одно: в то далекое время, когда сельских учителей знали наперечет, нужно было какое-то особое счастье – попасть в руки этого педагога, который видел свое назначение не только в том, чтобы научить темных и диковатых аульных ребятишек письму и счету.

После уроков он иногда рассказывал нам разные увлекательные истории, которые расширяли наши представления о жизни. От него мы впервые услышали имя – Крылов. Он читал нам его басни в своих переводах, и мы весело смеялись над тем, как хитрой лисице удалось

обмануть ворону, захвалить ее так, что ворона каркнула во все горло и выронила из клюва кусок курта. Бекет знакомил нас с произведениями Абая и Алтынсарина. Что-то из сказанного забывалось — нам ведь было все-таки немного лет. Но что-то и западало в память.

- За что бы ты ни брался, берись чистыми руками! — Бекет повторял это довольно часто, по самым разным поводам. И мы бегали мыть руки чуть ли не каждую перемену.

А то, что выражение имеет и другой, более глубокий смысл, я понял значительно позднее.

Бекет заметил мою страсть к народному эпосу, к дастанам — и стал давать мне книги. Для начала принес свои стихи, они назывались “Жиган-терген”.

Стихи пришлись мне по душе, я запомнил отдельные строчки и твердил их про себя. Бекет спросил: “А что же именно тебе понравилось?” Я долго краснел, запинаясь, но так и не сумел толком объяснить — что. Мысли-то у меня были, а вот выразить их не хватало слов.

Он не настаивал и дал мне поэму “Шахмаран”, велел читать и потом пересказать ему все своими словами. Поэма увлекла меня. Я несколько дней провел над книгой, отказываясь от беготни с ребятами. Не могла

не тронуть история царя змей. Меня поразило высокое благородство, с каким он отнесся к человеку, попавшему в беду, и так горько было потом убедиться в черной неблагодарности, в предательстве человека.

Бекет остался доволен моим пересказом. Он спросил, что я еще читал, и я назвал ему дастаны, которые попадали мне в руки там, дома, когда я ходил учиться к мулле.

Как-то вечером к учителю собрались гости. Он позвал меня и заставил выступить. Я сперва ужасно застенялся. Казалось, я не смогу вспомнить ни слова. Но возникла первая строчка, потянула за собой другую, третью... Это были отрывки из “Кыз-Жибек”.

Гости в один голос хвалили искусство юного ттеца. Для неграмотного народа каждый, кто умеет оживить немые слова, написанные в книге, уже считался ученым уважаемым человеком.

Для меня, два года просидевшего в школе мурлы, уроки в первом классе показались легкими. Многие я схватывал быстрее, чем те мои товарищи, для которых учение было в новинку. А ничто так не портит, как ощущение своего превосходства. К тому же я видел, что новый учитель расположен ко мне.

Злоупотребляя его хорошим отношением, однажды я заявил Бекету:

- Мугалым, я хочу вам сказать: я уже первый класс закончил. Сейчас учу книги второго класса.

.. Бекет даже растерялся от такой заносчивой самонадеянности. Но грубым он с нами никогда не был.

-Как это – закончил? – удивленно спросил он.

- Да, вы проверьте... Букварь – весь знаю. Какие числа надо сложить или отнять одно от другого, - тоже сумею! Вы проверьте, если сомневаетесь.

Какая-то доля истины в моих словах была. Подражая почерку учителя, я стал писать хорошо и разборчиво. И букварь заучил от корки до корки, не хуже, чем дастан.

Бекет строго нахмурился. Но кто у нас не знал, что сердиться по-настоящему он не умеет.

- Разговор у нас такой, словно ученик Габит – это я, а учитель Бекет – это ты... Мне кажется, было бы справедливее, чтобы не ты мне сообщал о своих успехах, а я похвалил бы тебя. А? Как ты думаешь?

Я уже ничего не думал. Я медленно сторал от стыда.

Бекет дал мне время справиться с моим неприятным смущением, а потом сказал:

- Учишься ты и вправду хорошо, тут я ничего не могу возразить. Но если хочешь стать человеком, никогда не будь доволен собой. Всегда говори сам себе: я мог бы сделать больше, чем сделал...

Я молча переживал свой позор. Бекет добавил, будто ничего не произошло:

- Послезавтра к нам приезжает инспектор. Он будет проверять, как работает школа. Он просил, чтобы я показал ему не только средних, но и лучших учеников. Ты готовься. Я вызову тебя по арифметике.

Я предпочел бы прочесть что-нибудь, к тому времени я заучил и несколько русских стихов. Но ладно, арифметика так арифметика. Хоть и надо было думать: "я мог бы сделать больше, чем сделал", - а приятно щекотало самолюбие, что он посчитал меня в числе лучших.

Мы знали, что инспектор — это начальник, как волостной, а может, и еще выше. Он и одет был, как начальник, - в темно-синей форме с золотым шитьем; носил усы и бородку клинышком.

Когда он вошел в класс и вежливо с нами поздоровался, я удивился. Я привык в ауле: если

начальник, значит, будет громко кричать, чего-то требовать, замахиваться камчой. А этот – какой-то непохожий, какой-то другой.

На стене в тяжелых позолоченных рамах висели портреты самого царя и самой царицы. Инспектор, как положено, спросил, знаем ли мы, кто изображен на них.

В ответ потянулись руки.

- Хорошо... Ты скажи, - обратился инспектор к Мусакаю, который даже привставал на месте от нетерпения, всем своим видом показывая, что он-то расскажет лучше всех, если только его попросят.

Но когда, не вникая в смысл, заучиваешь длинное предложение на чужом малознакомом языке, оно быстро вылетает из памяти. Мусакая хватило только на то, чтобы проворно вскочить и стать в проходе, четко вытянуть по швам руки. Потом он растерялся от собственной смелости. Шумно проглотил слюну и буркнул:

- Нызнаю...

Инспектор искоса посмотрел на нашего учителя, и тот покраснел, как мальчик.

- Тогда ты скажи... - Инспектор обратился к самому здоровому из нас парню – двадцатилетнему Жакыпу, с трудом умещавшемуся на своей последней парте.

Так же с трудом он вылез из нее и вытянулся, не зная, куда девать большие руки.

- Йаго... - начал Жакып, вздохнув.

- Не “йаго”, а его, - поправил инспектор, и этого было достаточно, чтобы Жакып растерялся и умолк окончательно.

Наш бедный учитель совсем упал духом; его глаза медленно блуждали от парты к парте, где сидели те, на кого он мог рассчитывать. Я понял его и начал старательно тянуть руку, не хуже, чем только что Мусакай.

- Ладно. Попрошу тебя, - повернулся инспектор ко мне и кивком головы показал на женщину, которая с высоты смотрела на неуклюжего казахского парня, каким я был в то время.

Учился я в первом классе, а было мне уже почти пятнадцать. И язык мой, как у всех великовозрастных учеников, оставался неповоротливым. Для меня особенно трудным было слово “Ея”, которым начинался непомерно длинный титул императрицы всея Руси. “Ия”, а то и вовсе “иа” — у меня каждый раз получалось по-разному и всегда неправильно. Поэтому я постарался побыстрее перескочить злосчастное слово. Мне это удалось, и дальше я все выпалил одним духом. -

Было видно, что инспектор остался доволен.

Он кивнул Бекету и вызвал меня к доске. Таблицу умножения я знал и ни разу не сбился, отвечая, сколько будет четырежды восемь, пятью девять, восемью семь. Решил я и две задачи, которые он задал.

Бекет понемногу пришел в себя и предложил инспектору спросить меня и по русскому языку. Тот подумал и велел прочесть басню. Что я читал? “Чижа и голубя” или “Мартышку и очки”?

Чижа захлопнула злодейка-западня,
Бедняжка в ней и рвался, и метался.
А голубь молодой над ним же издевался.

Раз я и сейчас могу свободно прочесть ее до конца, читал я скорей всего именно эту басню.

В нашем классе было пять девочек. Три из них, боясь инспектора, не пришли в тот день в школу. А одна из двух, та, что была побойчее, тоже прочла стих. Меня инспектор наградил сборником Лермонтова, а девочку – томиком Пушкина.

Я читал Лермонтова, некоторые стихи даже заучил наизусть. Но смысл их был для меня не всегда понятен.

Вот стихотворение “Терек”. Терек по-казахски дерево, и я никак не мог уразуметь, что же получается: “Терек бьется, дик и злобен, меж

угесистых громад”. Ветер, что ли? Бекет, спасибо ему, объяснил: Терек — это река на Кавказе, течет в горах, потому такая бурная.

Другое дело басни. Там все было понятно. Сам автор объяснял, в чем их мораль. Там говорилось о зверях, которых можно было встретить в нашей степи или же на страницах дастанов; там все было расставлено по своим местам — кого считать хорошим, кого — плохим, кого осудить, кому посочувствовать.

Всего четыре дня минуло после отъезда инспектора. И одно событие навсегда определило нашу жизнь, нашу судьбу.

- Свобода! Свобода! — кричали всадники, носясь по улицам, заскакивая в ближние аулы. — Царя больше нет!.. Свобода! — Требовали суюнши.

Но есть царь или нет его, а на следующее утро мы все пришли в класс. Первое, что бросилось в глаза, — учитель успел снять со стены августейших особ, прислонил их к столу. Оказывается, портреты были намалеваны масляными красками по жестяным листам. И роскошные позолоченные багеты тоже были из тонкой жести.

- Сегодня — никаких занятий! — сообщил нам сияющий Бекет, у него на пиджаке, словно цветок, алел бант. — Раз все свободны — и вы свободны, дети. А вот этих двух... - Он щелкнул

пальцем по одному из портретов. – Этих можете таскать по всему поселку, волочить их по земле. Так, чтобы к вечеру никто и признать бы не мог! И кричите во все горло, что царя больше нет, что теперь – свобода! Кричать-то вы, по-моему, умеете неплохо.

Да, кричать мы умели. Быстро нашли веревочные обрывки – и поволокли за собой царя и царицу. До самого вечера мы носились по улицам, навещали соседние аулы. Наша шумная ватага была слышна издалека. Люди выходили навстречу. Одни молча наблюдали за всем происходящим, никак не высказывая своего отношения. Говорят, царя нет... а вдруг он снова возьмет в свои руки власть, и что тогда будет с теми, кто поносит его на разные лады при всем народе.

Другие не скрывали своих чувств. Они кричали, радовались, приглашали нас в дома и угощали, кто чем мог.

Помню, одна пожилая женщина – казашка, которая сроду не видала царского портрета, все удивлялась:

- Ну и рожа у него! Он, сатана, ко всему и кривой на один глаз!

Она не подозревала, что это Жакып отколупнул краску.

В конце концов, нам надоело таскать портреты. Мы сунули их в прорубь на Убагане.

Для этого пришлось расколоть лед у берега. Было слышно, как небystрое течение подхватило портреты и понесло. Раздавался скрежет жести. Словно царь с царицей просились, чтобы мы их выпустили.

...Наступило лето.

Это лето стало переломным в моей судьбе. Бекет Утетлеуов написал прошение в Пресногорьковское высше-начальное училище. Он лестно отзывался о моих способностях и настаивал на том, что мне необходимо продолжить учение в русской школе.

Ход моего рассказа опять несколько нарушится, но сказать несколько слов о Бекете я должен.

Он был одним из тех немногих казахов, которым удалось получить образование в учительской семинарии. Мог бы остаться в городе, но не остался. Если одним словом определить всю сложность и неповторимость его натуры, я сказал бы о нем — просветитель. Таким он был в те годы, когда я, мальчишка, впервые встретился с ним. Таким знали его и все последующие поколения учеников.

Он никогда не бросал писать стихи, но без

лишних восторгов, очень взыскательно относился к своему творчеству. За всю жизнь (Бекет умер несколько лет назад) он счел возможным опубликовать один сборник, который выдержал испытание временем и незадолго до смерти Бекета был переиздан.

У меня нет сейчас возможности подробно рассказывать о Бекете — так подробно, как он заслужил это своей жизнью. Но должен признаться, что слово учитель у меня навсегда осталось связанным с его именем, пусть почиет он в мире, как хорошо говорилось в старину, и пусть его дела продолжатся в делах его многочисленных учеников.

А теперь вернемся в тысяча девятьсот семнадцатый год.

Вступительные экзамены в Пресногорьковке принесли мне уверенную пятерку по арифметике и блистательный провал по русскому языку. И все же меня приняли. Очевидно, поверили Бекету на слово.

Осенью того же года в соседнем ауле, не помню, по какому случаю, был той.

Я натянул новые кожаные сапоги, из-за голенищ которых выступают плотные войлочные чулки. Называется такая обувь — саптама. Надвинул на самые брови ушанку из

серого искусственного каракуля. Больше всего огорчений мне доставляло мое “пальто”. Одна знакомая казашка перешила его из солдатской шинели. Перешила почти даром – она была добрая женщина, но стоит мне припомнить мой тогдашний вид, и я понимаю, что доброта все же не имеет отношения к портняжному искусству. Пальто делало меня горбатым, чего за мной не водилось, и руки казались длинее, чем они были на самом деле.

Я даже удивился, что меня узнал и окликнул на тое один знакомый – земляк. Сабит, Сабит Муканов заговорил со мной, несколько смущаясь. То ли мой вид привел его в недоумение, то ли моя природная замкнутость сдерживала даже такого общительного человека, как он.

Немного привыкнув друг к другу заново, мы посмеялись, вспомнили свою детскую стычку. И поделились своими намерениями на будущее.

Сабит держал путь в Омск, на учительские курсы. Удивительно, что и до него дошел слух, как я на прошедшей весной ярмарке выписывал землякам “достобирены”, то есть, удостоверения на продажу лошадей. Неграмотные люди – старше меня годами – уважительно обращались ко мне: писарь, и, пожалуй, тогда я получил свой

первый гонорар, в общей сложности три рубля. По тем временам деньги немалые.

Предвидя, что на большой осенней ярмарке ему тоже придется подработать на жизнь, Сабит и просил у меня образец.

Я предупредил, что нужно указывать масть лошади, и столбиком выписал казахские названия, а напротив каждого из них – русские: бурый – чалый, жирен – рыжий, кула – темно-рыжий, тарлан – саврасый, кара – вороной, шубар – пегий, торы – гнедой, сары-ат – буланый. Кроме того я счел необходимым написать и возможные “особые приметы” – клейма, тавро, иверни.

Позднее я узнал, что Сабит воспринял образец слишком буквально.

В его описании одна и та же лошадь становилась темно-серой, рыжей, чалой. А в другом случае он привел сразу все виды иверней: “правое ухо имеет вырез сзади”, “уши с разрезом на конце”, “кончики ушей отрезаны”.

Если бы наложить все перечисленные им отметки, то бедная кобыла вообще лишилась бы ушей. А у нее уши как раз были нетронуты, и она настороженно ставила их торчком, словно понимая, в какую передрыгу попал с таким “достобиреном” ее хозяин. Ловкие базарные

стражники быстро смекнули, как извлечь из этого выгоду. Они принялись обвинять аульного казаха, что лошадь у него краденая, и отпустили его, насмерть перепуганного, только за хорошую взятку.

Так случалось в ту осень еще со многими, но если кто интересуется дальнейшими происшествиями с “достобиренами”, тех я отсылаю к автобиографической повести Сабита Муканова “Школа жизни”, где он подробно рассказывает об этом.

...Отец согласился на мою учебу в Пресногорьковке потому, что в то время его коржун довольно прочно держался на хребте шалого стригунка. Но на то, чтобы снимать квартиру у русских, средств все же не хватало.

Я поселился на окраине станицы в доме Сагиндыка. Он пас крупный рогатый скот, принадлежавший местным казакам. Его семья давно прижилась в Пресногорьковке. Женщины шили тулупы на продажу, мужчины и мальчишки постарше ходили в пастухах, сапожничали, возили дрова и сено, зимой чистили проруби.

Все они довольно чисто говорили по-русски, и в их присутствии я долго не решался прибегать

к этому языку из-за совершенно ужасного своего произношения. Подружился я с младшим братом Сагиндыка. Его звали Сыздык. В детстве он бегал в русскую школу – и тогда же русскими буквами записал “Кыз-Жибек”.

Но если с Сыздыком я чувствовал себя свободно, то особенно стеснялся Салимы и Шайзат. Им исполнилось четырнадцать и тринадцать лет, и по тогдашним понятиям они считались взрослыми девушками. Этим насмешницам доставляло удовольствие ставить в неловкое положение аульного паренька, который впервые попал в большую обжитую станицу.

Я решил, раз я стал таким взрослым и начитанным, что сам Бекет-ага хорошо обо мне отзывается, то надо стараться преодолеть природную застенчивость. Что они съедят меня, что ли?.. Первым делом надо показать двум остроязыким сестричкам, что я ничем не хуже тех, кто вырос и живет в Пресногорьковке.

Случай для этого скоро представился. Я возвращался домой из школы. А дорога вела мимо базара.

Молодая русская женщина бойко покрикивала: -Яблочки, яблочки!.. Кому яблочек?..

Из русско-казахского словаря, в который я

заглядывал, мне было известно, что так называется “алма”, - сочный, вкусный и сладкий плод, растет на деревьях. Очевидно, именно потому, что я знал значение слова, я и остановился возле нее. В наших краях яблоки не росли.

- По две копейки штука, - ответила женщина на мой вопрос, сколько они стоят. - А сладкие, а вкусные - чистый мед.

Я взял у нее десяток. Плоды были зрелые, готовые лопнуть от малейшего прикосновения. Положить их мне было некуда, пришлось рассовать по карманам куртки и брюк.

Шел я осторожно, как человек, непривычный к седлу и проделавший долгий путь верхом. Уже почти у дома я почувствовал, что карманы отсырели.

На мое несчастье в юрте оказались гости.

Салима и Шайзат с важным хозяйским видом сидели по обе стороны самовара и разливали чай. Мои возражения не помогли, и Сагиндык усадил меня за дастархан. Гости, свернувшие ноги калачиком, потеснились, и я опустил на кошму рядом с ними.

Не успел протянуть руку за пиалой, как карманы брюк из сырых стали мокрыми. Предательские темные пятна выступили снаружи. А те яблоки,

что я положил в карманы куртки, раздавили соседи. За дастарханом было тесно, и мы сидели локоть к локтю.

Чаепитие продолжалось долго. Во-первых, надо рассказать все новости друг другу, а во-вторых, аульные казахи очень любят хлеб, печеный из кислого теста, и молодые гостеприимные хозяйки подавали буханку за буханкой.

Наконец все напились и наелись. Девушки убрали самовар и отправились собирать топливо. Я выскользнул следом за ними. При моем поселении у Сагиндыка состоялся уговор, что я буду помогать по хозяйству.

Мы отошли от дома, и я набрался храбрости – отдал девушкам свои гостинцы.

- Вот... Яблоки... Для вас купил. Для тебя, Салима. Для тебя, Шайзат, - буркнул я.

Салима степенно взяла в руки изрядно помятое яблоко, взглянула на мои мокрые штаны и не выдержала – расхохоталась. Шайзат – порывистая, избалованная своим положением младшей, любимицы, выбила из моих рук красные плоды, подхватила их и побежала обратно, крича на ходу:

- Мама! Мама! – Она заливалась веселым смехом. – Ты посмотри, какие гостинцы купил

нам Габит на базаре! Яблочки, говорит, а это помидоры! Помидоры!

Салима, заразившись ее весельем, совсем обессиленна от смеха и повалилась на траву.

Так бесславно закончилась моя первая попытка поухаживать за девушками. Откуда мне было знать, что в Пресногорьковке и вообще в тех краях местные жители называют “яблочками” помидоры.

...Четыре года в Пресногорьковской школе. Я еще застал обязательную церемонию – перед началом уроков все ученики, независимо от вероисповедания, выстраивались в актовом зале на молитву. Впереди в нарядной шелковой рясе стоял преподаватель закона божьего – священник Малиновский. Рядом с ним директор Михайлов, дьякон и учителя. Начинали мы неизменно: “Отче наш, иже еси на небеси... да святится имя Твое... да придет царствие Твое... да будет воля Твоя...”. О, Ты Боже праведный – мы и произносили это с большой буквы, и в просторном зале на втором этаже гулкое эхо вторило нам.

Потом пели “Боже, царя храни...”, хоть царя уже свергли и хранить было некого. От сильного

баса Малиновского, если он бывал в ударе, дребезжали стекла. Ему вторил дьякон — душа церковного и “светского” ученического хора. Он был молодой, красивый, и наши девушки охотно пели у него. Как всякий артист, он ценил их преданность. На уроках музыки и пения дьякон в сторону мальчишек и не смотрел. Казалось, он обучал одних девушек.

“Боже, царя храни” мы, ничего не зная о его судьбе, пели до самого девятнадцатого года. И на том кончились мои взаимоотношения с царской фамилией: сначала я перед инспектором народных училищ пышно титуловал императрицу, спустя четыре дня волочил по степи, а потом спустил в прорубь ее портрет и портрет ее августейшего супруга, потом в хоре, не по своей воле, просил сберечь его.

Что было хорошо в Пресногорьковской школе, так это усиленное внимание к русскому языку, к словесности; как по старой памяти называли преподавание литературы. Очевидно, наши учителя считали — и справедливо, что именно литература поможет их питомцам разобраться в сложностях жизни. Сколько души они вложили, сколько усилий потратили на то, чтобы сгладить шероховатости суконного моего языка, научить вникать в смысл слов, которые произносишь.

Какое нужно было, например, терпение, чтобы на протяжении двух лет неумолимо поправлять меня: не супфикс, а суффикс. Плексия – неправильно, надо – флексия.

В школе думали и о нашем земном будущем, а не только о высоких материях. Желаящие могли обучиться столярному ремеслу, сапожному, были свои каменщики, свои швеи.

К двадцать первому году с Колчаком в наших краях было покончено. Но еще находились люди, которые надеялись вернуть прошлое. Весной вспыхнуло восстание против советской власти, и мы, девять учеников-переростков, способных носить оружие, вступили в отряд, который назывался “Южная группа партизан Акмолинской губернии”. Им командовал Дмитрий Ковалев, родом из Анновки, небогатой мужицкой деревни.

Вылазка белобандитов вскоре была подавлена. Мы вернулись в школу, и, видимо, за причастность к боевым подвигам для нас отменили выпускной экзамен. Заменяли его сочинением на свободную тему.

Русский язык и литературу вела Сильвия Михайловна – не то латышка, не то полька. Молодая красивая женщина. По ней многие тайно вздыхали. Глаза у нее были живые, яркие,

глубокие, как озеро Кожабай, возле которого наш род проводит лето... И голос у нее красивый, серебристый, когда смеется, напоминает колокольцы на тройке. Приятно слушать, даже если она, вот как сейчас называет темы сочинений. А от них зависит вся моя дальнейшая судьба.

Сильвия Михайловна говорила:

- Выбирайте сами... Можно написать о том, что вот в эти весенние дни в наших краях крестьяне сеют хлеб. Хлеб! Не забывайте, что Поволжье голодает. Во многих городах до сих пор выдают осьмушку на взрослого. Хлеб – вот одна из тем ваших сочинений... Потом – у нас открылась весенняя ярмарка. Это тоже тема. Некоторые из вас участвовали в ликвидации опасной банды. Им, верно, есть, о чем рассказать после похода.

Я горделиво расправил плечи, когда она заговорила про тех, кто ходил с партизанами Ковалева. Но тему все-таки выбрал другую: “Пресногорьковская весенняя ярмарка 1921 года”. Так было написано на доске рукой Сильвии Михайловны, и это название я вывел у себя в тетради.

Только вчера я ходил на ярмарку и наблюдал там немало случаев, когда грустное и смешное

соседей, и было непонятно — радоваться или печалиться.

Не бывает ярмарки без того, чтобы не поторговаться. Если продать, так подороже, а купить, так подешевле... Те, которые не понимали языка друг друга, объяснялись знаками: рубли показывались на пальцах, копейки — на суставах, полтинник обозначался полпальцем.

- Двадцать! — говорил русский крестьянин, дважды выбрасывая перед продавцом сжатые кулаки.

- Жыйрма... - утверждал свое казах, тоже два раза выставив оба кулака, но несогласно мотая головой.

- Чего же тебе еще? — недоумевал покупатель.

Казах неодобрительно молчал, поглаживая шею быка, с которым и не стал бы расставаться, если бы не нужно было покупать серники, керосин, ситец на рубашки и платья.

- Ладно, пусть... - решил русский, что-то прикинув в уме. — Пятерку прибавлю, - показывал он пять на пальцах.

- Бес? Жок, жок, - не соглашался казах и настаивал: Бир бут ун. — Это означало: “Прибавь пуд муки”.

Он не мог объяснить, что ему нужно, русский не понимал его, а толмача, будто назло,

поблизости не было. Казах показал, как жуют хлеб.

- Калач тебе?.. Буханку?.. – В голосе покупателя послышалась злость.

Продавец же никак не мог изобразить муку. Тут ему ни лицо, ни руки не могли помочь, и сделка не состоялась. Русский выругался по-казахски, казах – по-русски, и они разошлись, русский махнул рукой, а казах сплюнул.

Неподалеку от них несколько приезжих из аула, стараясь не выдать восхищения, рассматривали серого в яблоках коня, на котором перед ними, туго натягивая поводья, гарцевал цыган в яркой красной рубахе. Он один выпускал семьсот слов, пока те семеро успевали произнести семьдесят на всех.

Его кнут резко свистел в воздухе. Цыган то соскакивал, предлагая любому, кто захочет, проехаться на его коне, говоря, что кто проедется, уже не захочет с него слазить!.. То снова взлетал в седло, делая вид, что пришел в отчаяние от неговорчивости покупателей, от их непонимания собственной выгоды.

- Даром же отдаю! Даром! – кричал он. – Ты ход проверь, милый! Садись и проверяй ход. Сам бы ездил, да деньги надо...

Три джигита, сохраняя недоверчивое выражение на лице, поочередно проехали на красавце-

жеребце, потом отошли в сторону, посоветовались, и один из них стал отсчитывать замусоленные пятерки, трешки, рубли. Цыган хлопнул нового хозяина по руке, из полы в полу передал ему повод – и растворился в ярмарочной толпе.

Продолжение этой истории я узнал в доме Сагиндыка – покупатель оказался его знакомым.

К вечеру конь захромал на переднюю ногу, а к утру слег. Повели его к ветеринару. Ветеринар осмотрел, пожал плечами и сказал, что водка, которую накануне влили в коня, выдохлась, и если хозяин в самом деле собирается на нем ездить, надо его каждый раз подпаивать.

Растерянный приезжий бродил по ярмарке, расспрашивал, не видел ли кто человека с черной бородой и кнутом, в красной рубахе и черной жилетке.

Вот из таких картинок и состояло мое выпускное сочинение – в ученической тетради оно заняло десять страниц.

А через день или два весь наш класс толпился в коридоре у закрытой двери учительской. Вызывали по одному. Нас, великовозрастных, было девять, как я уже говорил. Восемь переступили порог и возвратились с бумагами в руках: свидетельствами об окончании школы.

Я настоженно прислушивался. В учительской

шел какой-то спор. Звонкий и веселый обычно голос Сильвии Михайловны звучал приглушенно, - сердито и обиженно. Она на чем-то настаивала, а с ней, видимо, не соглашались. Один только раз мне удалось разобрать ее запальчивые слова:

-А я вам всем говорю!...

Мои товарищи держали свидетельства в руках, словно боялись их помять в карманах или потерять. Они сочувственно посматривали на меня, а потом ушли, когда выяснилось, что дело тут долгое.

Я провел в одиночестве часа полтора. Наконец дверь распахнулась, и Сильвия Михайловна, вся возбужденная, покрасневшаяся, пригласила меня в учительскую.

Я вошел ни жив ни мертв. Директор хмуро листал мою тетрадь с сочинением. Он с укором взглянул на меня: "Ты видишь?" - словно говорил его взгляд.

Да, я видел... Фиолетовые строки, сплошь исправленные красными чернилами Сильвии Михайловны, словно там шел кровопролитный бой. Не осталось ни одного живого слова. Мои несогласованные склонения и спряжения, причастия и деепричастия напоминали стоящие вкось и вкривь крестьянские телеги на ярмарке.

- Сто пятьдесят! – воскликнул директор. –
На десяти страницах сто пятьдесят ошибок!

Я совсем сник. Как теперь быть? Остаться еще на год в школе? Или бросить все, уйти? Но тут директор неожиданно показал мне последнюю страницу.

Невероятно, но теми же красными чернилами там была написана большая цифра – 5. И вызывающе подчеркнута двумя красными чертами. Я закрыл глаза и снова открыл их.

Директор больше не хмурился. Он улыбался.

-Нет, это тебе не чудится... - Его голос звучал доброжелательно.

-Скажи великое спасибо Сильвии Михайловне. Это она... Она одна против всех нас. Убедила. Говорит, что ты станешь писателем.

Сильвия Михайловна сидела за столом. Директору она улыбнулась победно, а мне – одобряюще, дружески.

Так я впервые услышал о том, что меня ждет впереди. Ни о каком писательстве я тогда, конечно, не помышлял. Я рвался домой – наводить порядки в своем ауле, в своей волости. По слухам, баи ловко приспособились и к новым условиям.

...Домой на побывку приехал Сабит Муканов.

Мы с ним встретились. Это было в разгар лета, в двадцать третьем году.

Оказывается, Сабит к тому времени из Омска перекочевал в Оренбург, в рабфак. Что такое рабфак?.. Рабочий факультет. Туда принимают тех, для кого в прежние годы дорога к высшему образованию была закрыта.

Честно говоря, я завидовал Сабиту. Ведь он с семнадцатого года жил в больших городах, его кругозор был гораздо шире, чем у меня. Он легко и свободно рассуждал о положении дел в стране, о будущем Казахстана, о международных отношениях. И знал об этом не понаслышке, а из первых рук – в Оренбурге ему приходилось встречаться и беседовать с народными комиссарами. Жил он у самого председателя Совнаркома, который поддерживал подающую надежды творческую молодежь. Понятно, ведь председателем Совнаркома республики был Сакен Сефуллин – один из основоположников современной казахской литературы, большой поэт, чьи стихи расходились по нашему степному краю, пожалуй, быстрее, чем подписанные им постановления.

- Едем! – говорил Сабит. – Что тебе здесь сидеть? А в Оренбурге у нас – знаешь...

И снова начинал рассказывать о своих знакомствах, встречах, о своих стихах.

Его слова падали в благодатную почву. Я мысленно представлял себя там, в большом городе, среди студентов. Я удивлял их своими рассказами об увиденном, своим знанием жизни...

- Ты говоришь — едем? И я говорю — едем! — так однажды заявил я Сабиту.

Но мое решение встретило неожиданное препятствие. По каким-то причинам, которыми он не счел нужным поделиться, мой отец стал возражать против отъезда. Я готов был уже смириться и остаться. А Сабит не отходил от него, приводил разные доводы, убеждал, уговаривал и в конце концов уговорил.

Остались позади юрты родного аула. В который раз... Я оборачивался в седле. Юрты исчезли из глаз. Мой конь, сообразив, что дорога предстоит неблизкая, что это не просто поездка в соседний аул, перестал упрячиться заворачивать обратно и пошел веселее.

Верхом добирались до Петропавловска, а там пришлось распрощаться с верным конем, который по крайней мере трижды уносил меня от гибели. Помню, как сейчас, в Петропавловске я ухожу с постоянного двора, а он смотрит мне вслед, словно понимая, что наша разлука — навсегда.

Конь у меня был рыжий, с белой звездочкой на лбу, а задняя нога в белом чулке.

В Оренбурге Сабит с вокзала повел меня на квартиру Сейфуллина. Поэта-председателя окружало столько молодых поэтов, певцов, композиторов, что появление еще двоих не могло его удивить. Еще двое? Ну, еще двое...

Правда, самого Сакена мы почти не видели. Когда он возвращался из поездок в Оренбург, то с утра до поздней ночи бывал в Совнарком или в крайком партии. Кроме того, поначалу он занимал и пост редактора в газете “Енбекши казах”, единственной выходившей на казахском языке. (Сейчас это — республиканская газета “Социалистик Казахстан”).

Он все время уходил, но с нами оставались его стихи. В стихах и великолепный скакун, который соперничает с ветром, и задумчивая домбра, которой известны самые сокровенные движения человеческой души, и огненный паровоз, который стремительно и неудержимо пронесется сквозь древнюю степь, пожирая пространство, - все эти образы становились революционными символами.

Стихи мы читали в тесной каморке в квартире Сейфуллина.

Единственное окно выходило на веранду. Здесь

было темновато, но это нас даже устраивало. Можно не очень следить за чистотой. Не обязательно подметать пол, не говоря уже о том, чтобы его мыть. Я был по натуре беспечен, и Сабита тоже не приходилось считать образцом порядка и организованности.

По углам валялись махорочные окурки. Мы их не выметали сознательно. Когда по ночам у нас кончался “темеке”, то до утра мы не беспокоились о куреве, подбирая “бычки”. Тогда-то я и понял, что безалаберность в иных случаях приносит неоспоримую пользу.

На ночь мы вдвоем устраивались на односпальной железной кровати. Сетка была давно порвана, и мы накрыли кровать листами ящиков из-под чая.

Часто среди ночи раздавался грохот, сопровождаемый приглушенными чертыханиями – мы своими боками проверяли прочность пола. Хочешь не хочешь, приходилось подниматься и наскоро латать кровать. Сабит тут же засыпал снова, не обращая внимания на подозрительные шорохи и потрескивания.

Конечно, заменить изломанную фанеру новой было не так уж трудно. Но Сабит полагал, что я должен этим заняться, а я думал, что он. Мы прожили в комнате почти полгода, и все это

время сопровождалось однообразными ночными происшествиями.

Сабит, как одержимый, писал стихи, и ни на что другое у него не оставалось ни желания, ни времени, ни силы. Он радовался каждой удачно найденной рифме и заставлял меня радоваться вместе с ним. А я посматривал на него из-за учебника и думал с опаской: к добру ли Сильвия Михайловна, славная женщина, предсказывала мне писательскую будущность? Неужели и меня ждет это: ради какого-то одного слова мучиться так, словно тащишь огромный мешок и вот-вот свалишься под его тяжестью...

Но если бы не литературные упражнения Сабита, мне туго пришлось бы в ту оренбургскую зиму, особенно в первое время. Сабит печатал свои стихи в газете, в журналах и получал за это гонорар. Он и меня убеждал писать. Но я пока не мог на это решиться, и он стал приносить из редакции для перевода различные постановления, директивы, отчеты, которых и в те годы было много.

Официальные документы порой переводились так приблизительно, таким оказанным языком, что люди на местах, которым материалы адресовались в первую очередь, вряд ли понимали, о чем вообще идет речь.

Должен признаться, что и я внес посильный вклад в это дело. Но так или иначе — переводчику платили. Гонораров Сабита и моих заработков за непреднамеренное искажение официальных материалов вполне бы хватило на безбедную жизнь. Но мы совершенно не умели расходовать деньги и потому подчас влачили жалкое полуголодное существование.

В рабфак Сабит поступил годом раньше меня и сейчас учился на втором курсе, а я на подготовительном. Но в середине зимы мы с ним встретились на первом. Меня досрочно перевели за успехи. А у Сабита оставалось несколько “хвостов” (тогда-то я узнал впервые слово, хорошо известное студентам всех поколений), и его вернули назад.

Он не очень огорчился. “Большевики не падают духом и не отступают перед трудностями”, - сказал он мне и продолжал по-прежнему писать стихи. А весной, когда экзамены уже хватили нас за глотку, неожиданно собрался и уехал.

Оставшись один, я уже не с той прилежностью сидел над учебниками и тетрадями. Я все чаще отвлекался от формул и дат. Я начинал жить новой жизнью, когда уносишься в другой мир, в гущу событий, известных только тебе, и чуткие

пугливые образы толпой обступают тебя... В такие минуты, оказывается, можно забыть про все на свете, про “хвосты”, про то, что ты сегодня не завтракал, а вчера не ужинал, про свидание, назначенное не воображаемой, а самой настоящей девушке...

Перелистывая томик Пушкина, я неожиданно нашел подтверждение своим новым ощущениям:

Мгновения бывают у поэта,
Когда он высший обретет покой,
И дар, огнем торжественным согретый,
Воспрянет в суете мирской.
Тогда в стихи легко ложатся строки
И проливаются струей живой,
И дума вдохновенная глубоко
Овладевает всей его душой.

Сомнение, робость, неверие в собственные силы — вот что мешало вдохновенной думе глубоко овладеть моей душой.

Но зато в Оренбургском рабфаке я стал прилежным читателем. Преподаватель литературы Карл Карлович Безин, из обрусевших немцев, вопреки сложившемуся мнению, что немцы — народ пунктуальный, мог на полуслове прервать лекцию и читать подряд Байрона,

Беранже, Пушкина, Лермонтова, Блока, Гете, Шиллера, Гейне... Я не знаю, все ли однокурсники разделяли его увлечения порывы. Про себя скажу, я разделял их.

Карл Карлович привил мне любовь не только к стихам. Гоголь, Горький и Джек Лондон – я не расставался с их книгами. И хитрый обходительный Чичиков, буян Ноздрев, Челкаш, мальчик из рассказа “Страсти-мордасти”, Смок Беллью со своим верным другом Малышом стали для меня такими же взаправдашними людьми, как и мой земляк Омар, постоянно задававший одни и те же вопросы, как Бекет Утетлеув, как Сильвия Михайловна, как Батима, дочь дяди Ботпая, как удалой цыган, продавший на ярмарке подпоенного водкой коня.

Я видел: жизнь, которая окружала меня с детства, которую я знал до мельчайших подробностей и со всеми оттенками этих подробностей, может стать материалом литературы, если бы нашелся писатель, знающий ее столь же хорошо, как мы – степняки. И я с самонадеянностью молодости решил – мне, мне надлежит попробовать свои силы и сказать свое слово!

А решив так, я поспешно откладывал в сторону ручку с пером. Откладывал на неопределенное

будущее. Слишком горько было бы убедиться в своем бессилии перед чистым листом бумаги.

...Однако пора было что-то предпринимать, а не только шарахаться из стороны в сторону, будто конь, испугавшийся собственной тени. Я твердил: “Не буду я писать, какой из меня писатель”. Но это больше так, чтобы обмануть себя. На предпоследнем курсе рабфака я все же решил заглянуть в редакцию “Енбекши казах” не только за тем, чтобы попросить очередной перевод.

В тот день я особенно тщательно начистил хромовые сапоги, которые сопровождали скрипом каждый мой шаг, надел галифе — пристрастие к этим брюкам у меня сохранилось со времени моего военкоматства, выгладил “толстовку”, ее тогда носили все, кто хотел следовать моде.

Не знаю, может быть, мой внешний вид произвел впечатление в редакции, решили — активист... И устроили проверку грамотности. Вот когдагодились мне алифсин-а, альбасин-и, алифтур-о... Газета издавалась на арабском алфавите, другого в то время не было.

Технический секретарь, вручая копию приказа о моем зачислении, дружески посоветовал:

- Корректор — корректором... Но ты среди своих лучше называй себя: литературный

сотрудник. Звучит более солидно, более внушительно.

Секретарь не очень далеко опередил меня по возрасту, и я весьма охотно последовал его совету. И среди знакомых считался литературным сотрудником, не написав еще ни одной путной строки.

И все же называться так чему-то обязывало. В редакции я впервые столкнулся с тем, что писать – это профессиональная необходимость. Здесь у меня перед глазами были более опытные, более взрослые люди, которые уже успели чего-то достичь.

Первым среди них я называю Беймбета Майлина.

С его именем – теперь уже безоговорочно и навсегда – связаны первые опыты реалистической казахской прозы. Ведь если наша поэзия имела за плечами богатые традиции, то прозу приходилось начинать почти на пустом месте. Первая повесть Майлина “Памятник Шуги” была издана за два года до революции. Повесть пользовалась успехом, ее читали, спорили о ней.

У нас в редакции Майлин был ответственным секретарем. В те годы новый редактор, который сменил на этом посту Сейфуллина, постоянно председательствовал на заседаниях и

совещаниях, то уезжал в длительные командировки от крайкома партии, от Совнаркома. Практически газету делал Беймбет.

Отзывчивый, добрый, расположенный к людям, он особенно внимательно относился к начинающим. Но чего не терпел и что могло вызвать у него бурный приступ негодования, - это небрежность, лень и безответственность в работе.

Однажды поздно ночью (помню это хорошо, а вот что прошло с тех пор больше сорока лет - не в состоянии поверить), после того как номер был подписан, Майлин собрал у себя весь коллектив редакции.

Ответственный секретарь делал придирчивый разбор номеров за месяц. Он был очень недоволен тем, как мы работали: писали плохо, не подняли многих жизненно важных вопросов. Досталось от него и заведующим отделами, и литсотрудникам. Я сидел относительно спокойно. Мое дело - грамматика, а особых ошибок в том месяце у нас не проскочило.

Майлин сказал:

- И еще одно... Вам об этом, наверное, надоело слушать. Но мне еще больше надоело говорить! Качество переводов... Вот я сейчас вам прочитаю...

Занятый каким-то своими мыслями, я не сразу вслушался в текст. А как только вслушался, мне сразу захотелось стать маленьким и незаметным. Беймбет читал одно из двух переведенных мною, а не кем иным, постановлений.

- Поняли что-нибудь? — спросил он, положив обратно на стол газетный лист.

Ответа не последовало, потому что понять действительно было трудно, в том числе и самому переводчику.

- Как это смогут понять в аулах? Или мы выпускаем газету для того, чтобы она шла на раскурку?

Летучка кончилась почти в три часа ночи. Майлин роздал литсотрудникам целый ворох рукописей.

- Это на обработку. Сроку вам два дня. Сдать в готовом для печати виде.

Все начали расходиться, а я топтался в дверях кабинета. Я решил, что Майлин никогда больше ничего не поручит мне — человеку малограмотному, недобросовестному, занимающему в редакции явно не свое место. Наверное, выгонит. В лучшем случае переведет в рассыльные — таскать оригиналы в типографию, а из типографии гранки и сверстанные полосы. Нечего сказать, хороший

подарок я преподнес сам себе к недалекому дню рождения...

- Подожди, - остановил он меня.

Я приготовился выслушать длинное нравоучение и опять ошибся. Майлин только посмотрел на меня – очень выразительно, вздохнул и протянул мне рукопись статьи на казахском языке.

- Выправишь. И принесешь. Срок тот же, что и для всех. Иди...

Дело происходило накануне Восьмого марта, и статья посвящалась женскому вопросу. Я два дня не показывался на лекциях, - сидел в общежитии, готовил статью к печати. Писал, зачеркивал, переписывал, делал вставки.

В назначенный срок я переступил порог майлинского кабинета.

Беймбет оторвался от рукописи.

-Принес?

-Принес...

-Садись.

Он читал внимательно, иногда возвращаясь к предыдущим абзацам. В одном месте сделал пометку красным карандашом.

-А это ты откуда взял?

-Из "Правды".

Вопрос относился к одной из моих вставок.

Речь шла о том, что в Великобритании, стране высокой и старой цивилизации, женщины только в тысяча девятьсот восемнадцатом году добились права голоса на выборах, а наши казашки – на год раньше, в семнадцатом. Начитанный студент, я попытался объяснить это известным ленинским положением об угнетенных ранес народах, которые вступают на путь социалистического развития, минуя стадию капитализма.

Как умел Майлин обрадоваться чужой удаче, даже если она была просто логичным, вытекающим из хода рассуждений сопоставлением в обыкновенной статье.

-Молодец! А свое что-нибудь пробовал писать?

-Нет.

Не мог же я сказать “да”, имея в виду то сочинение, которое не перешагнуло через порог Пресногорьковской школы.

-Может быть, попробуешь?

Через несколько дней я показал ему небольшую зарисовку, она называлась: “Когда Эдеге хорош, а когда плох”. Я постарался коротко описать знакомые мне взаимоотношения между батраком Эдеге и его хозяином. Гонишь табун на пастбище – хорош, поехал за топливом – хорош. Но тот же Эдеге

становится плохим, стоит ему присесть отдохнуть или завести разговор, что не худо бы купить ему новые сапоги.

В очередном номере газеты мое произведение заняло двадцать одну строку. Впервые с подписью.

- Видел? – спросил меня при встрече Майлин.
- Я там исправил всего четыре слова. Пиши дальше.



МАТЕРИНСКИЙ ГНЕВ

-Разрешите переночевать у вас?

В дверях у юрты стояла одетая в лохмотья, исхудалая женщина.

Хозяин медленно поднял на нее неприветливый взгляд. В голосе незнакомки ему послышалась не просьба, а приказание.

Плотно сжав потрескавшиеся губы, она терпеливо ждала ответа. Глубокие тонкие морщинки соткали у глаз ее и на лбу мелкую сетку. Сквозь дыры разорванного короткого рукава виднелась темная, похожая на обуглившуюся деревянную кочергу рука с серебряным кольцом на пальце. Кольцо своим блеском еще больше оттеняло черноту руки.

-Кто вы? Откуда? – спросил хозяин.

- Если я даже всю свою родословную расскажу... Такой домосед, как ты, вряд ли что разберет. Ты, видно, никого, кроме жениной родни, не признаешь! Ну, да об этом после, а сейчас давай решим о моем ночлеге... Гостья усмехнулась.

Хозяин растерялся и, не находя ответа, забормотал:

- Если хотите переночевать...- трусливо мигая глазами, он посмотрел на жену, словно прося ее своим взглядом: “Избавь ты меня от этой бедовой

бабы, не то она меня своими глазами насквозь пронзит”.

Но жена решила по-своему:

- Что ж, ночуйте, оставайтесь, - сказала она незнакомке.

Гостья вошла, повесила у порога выцветший, изношенный до дыр камзол и, приблизившись неторопливыми, усталыми шагами к очагу, протянула к огню свои исхудалые черные руки. Дети, сидевшие вокруг огня, потеснились, давая ей место.

- Озябла я, - сказала женщина. — Издалека иду...
Долюшка моя несчастная!

И столько горечи было в ее словах, что хозяин устыдился своей недавней неприветливости, хотел было с ней заговорить, но не посмел ни о чем спрашивать, ждал, когда женщина заговорит сама. А та молчала.

Хозяйка тем временем достала мисочку муки и принялась наскоро месить тесто, с беспокойством поглядывая на гостью.

- Ну, что же, - проговорила она. — Вы, видно, очень устали, но все же, если не трудно, расскажите, откуда и кто вы?

- Расскажу, расскажу, - ответила женщина и поправила выбившиеся из-под косынки черные с проседью волосы. — Хозяин твой совсем,

кажется, с толку сбит, меня испугался. Что это, мол, за старая ведьма навязалась!

Она с усмешкой взглянула на хозяина и продолжала.

- Из города я. Уже десять дней, как оттуда плетусь. А родом — из дальних аргынов, из аула Бадена.

Женщина тяжело вздохнула, помолчала и начала рассказ:

- Овдовела я рано: муж в голодный год умер... Осталась одна с малолетним сыном. Назвала я его Бахытом, а пришлось мне из-за него семнадцать месяцев в тюрьме просидеть. Вот так...

Хозяйка дома, поправляя волосы тыльной стороной ладони, испачканной тестом, так и застыла, разинув рот от удивления.

Хозяин заерзал на кошме.

- Вот так, повторила гостя. Родное-то дитя для матери всегда дороже собственной жизни. Чем только не пожертвуешь ради него. Моему Бахыту в прошлом году пятнадцать лет исполнилось. Он уже два года в пастухах у бая Алтыбаса. Коров пас. И вот говорю я сыночку. “Попроси у хозяина то, что заработал за два года”... Отказался проклятый бай платить сыну. “Ты, - говорит, - работаешь за молоко, которое у нас берет твоя

мать”. Куда пойдешь жаловаться? Конечно, к волостному. А волостной – сын бая Алтыбаса. Молодой – двадцать один год ему, но головорез страшный: один глаз кровью залит, как у бешеной собаки, другой с красными прожилками, и волосы на голове дыбом торчат. Как пришел к нему мой Бахыт, избил его волостной до полусмерти и жаловаться на отца своего запретил. “Не буду я у вас больше работать!” – крикнул им тогда Бахыт и убежал. Домой вернулся. Господи!..

Женщина снова вздохнула.

- С этого и началось, - сказала она, помолчав. – Разве беда обойдет бедняка стороной? Объявили тут мобилизацию на тыловые работы, и дошел до меня слух, мол, сын мой в черный список попал. Не поверила я сначала. Как так, думаю, не подходит Бахыт мой по возрасту, молод ведь он, совсем еще молод! Только сбылась худая молва. Должен был уйти мой сыночек на тыловые работы в далекие края. Чем же я ему помочь могла? Не женить же его раньше времени, чтобы дома оставить?! Смирилась я. А народ не смирился, поднялся против царских законов. Восстание началось. И не успела я опомниться – поскакал мой соколик на своем стригунке вместе с другими джигитами. И побежали дни, а

за ними – месяцы. Разгромили восстание. Кого на виселицу, кого в Сибирь. К счастью, на Бахыта и тень не легла за то, что он вместе со всеми был. Но опять заговорили о тыловых работах, опять моего сынка в списке поминают. Народ в смятении, но молчат испуганные матери, будто забыли, что совсем еще недавно проклинали и царя и его порядки. Пошла я к женщинам нашим аульным поделиться своим горем, а от меня стараются поскорее отделаться: “Ничего, говорят, не поделаешь против царской воли. На милость аллаха надейся”. Ладно. Прислушиваюсь я к разговорам людей: многие, кто побогаче, сумели освободить сыновей своих от мобилизации. Как, не знаю. Но только мы, люди бедные, ничего сделать не можем. “Люди добрые! Помогите! Мой сын-кормилец в список попал. Молод он еще... Пожалейте!” А мне в ответ: “Мирись! На то божья воля!” Где правду найти, у кого? Пошла к баю Алтыбасу, обливаюсь слезами, молю его: “Освободи сына... Ведь пропадет он ни за что, ни про что! Освободи, в вечную кабалу тебе его отдам!” А бай говорит: “Не могу. Таких, как твой сын, теперь у меня больше, чем баранов в отаре”. У него молодая жена была, гордая, надменная. Прогнала меня из юрты: “Иди, иди! Здесь тебе не место! Скоро к нам люди придут!” Хотелось

крикнуть мне: “А я кто, разве собака?” Но сдержалась, хоть и зло меня брало, вспомнила, что недаром народ прозвал Алтыбаса твердолобым. Разве такого слезами проймешь?

Пошла я к его сыну, волостному управителю. “Не беда, - ответил он мне нагло. — Народ без твоего сына не осиротеет, женщины не овдoveют. И я, говорит, тут ни при чем. Мужа своего вини, это он записал твоего сына на несколько лет старше...”. Сказал он так и велел своему посыльному вывести меня из канцелярии.

Пошла я, обивать пороги судей да аульных старшин. Все слезы выплакала. В конце концов меня и слушать перестали. Писаря умоляла, а он смеялся надо мной: “Пусть идет, пусть. Это ему на пользу... Разжиреет на русской свинине!” У писаря встретился мне один чернобородый, он всегда при волостном состоял. “Ты еще молода, хороша собой, - сказал мне чернобородый. — Сын только мешает тебе жить в свое удовольствие. Пусть идет окопы рыть, тебе руки развяжет”.

И чего только я не предлагала за сына. Все возьмите: лошаденку последнюю, последнюю корову, только освободите моего сына. Но разве такая им нужна была взятка?

С неделю крутилась я около канцелярии волостного, питалась крохами со скудного стола

батраков, спала под открытым небом. Обессилела я совсем и устроилась однажды на ночь под телегой Алтыбаса, груженной киззяками. Только дремать начала, кто-то схватил меня сзади. Оглянулась: чернобородый. Тянется ко мне ручищами. Обнять хочет. Известно, что ему от вдовы надо. Не стану скрывать, было время — славилась я красотой, и люди называли меня тогда Айна-коз. Насилу вырвалась я из его лап, пнула его что было силы, прямо в рот угодила, взвыл он от боли и повалился навзничь. Быстро вскочила я на ноги, и он поднялся. “Дура, - говорит, - любой стыдливой девушке тебя предпочту. Помочь тебе хотел. Зачем отказываешься?” А я ему: “Врешь, сатана черномазый! Живой меня не возьмешь!” — И схватила топор, что неподалеку на земле валялся. Чернобородый или струсил и устыдился, но только вижу: попятился от меня. “Злая, - говорит, - какая, проклятая сука!”

И ведь не он один ко мне приставал, пока я ходила, кланялась. Придешь просить за сына, а на тебя пялят жадные, бесстыжие глаза и начинают елейные речи: “Подожди говорить о сыне, вдовушка. Давай о другом поговорим”. Ох, закипела у меня на людей злоба! Уже сын меня стал упрашивать: “Мама, перестаньте. Лучше мне

на тыловые работы идти, чем вам из себя посмеище делать. Поезжайте домой, мама". А меня еще больше зло разбирает.

Решилась я на последний шаг. Взяла сына за руку и повела его к управителю. Приходим. Волостной у себя в юрте на белых тугих подушках лежит, кумыс пьет. И чернобородый с ним. Увидел меня, смотрит волком. "А-а-а! — заулыбался молокосос-управитель. — Вдовушка пришла, Айна-коз пришла. Проходи, голубушка, садись поближе ко мне". И давай надо мной издеваться, а сам голодными глазами на меня смотрит, сына моего не стесняется. Не выдержал Бахыт насмешек надо мной. Не в силах он был заступиться за меня, а слушать надругательства не мог. Заткнул мальчик уши и выбежал вон из юрты. "Ты поживи с ним, — говорит мне управитель, показывая на чернобородого, — с месяц... Я возражать не буду". Бросилась я из юрты бежать, а сын мой уже вскочил на своего стригунка и вскачь из аула... Все потемнело в моих глазах, ноги подкашиваются, голова кругом идет. Чуть было я не упала. Кто я такая? Рабыня... Кто они? Знатные люди... что хотят, то и делают. Но неужели, думаю, всю жизнь мне терпеть издевательства? Человек я или собака? И вдруг увидела: джигит несет в юрту блюдо с

бесбармаком. Сверху – баранья голова, а на краю блюда - острый ножик... И уж не знаю, как это случилось, не помню. Схватила я нож, метнулась назад, в юрту, прямо к волостному управителю, лежавшему на подушках. Ударила его в глотку ножом, потом под сердце. Помутился мой рассудок, озверела совсем. Бросилась к чернородому. “Ой, ой...о-о-о!” – закричал он, отмахиваясь руками и вытаращив на меня остекленевшие от ужаса глаза. Помню я, как вывалилось из рук джигита блюдо с бесбармаком, как покатила по земле баранья голова с оскаленными зубами. Помню, как ударила ножом чернородого. Кажется, раза два. Больше ничего не помню. Упала без памяти.

Рассказчица замолчала, задумалась. Хозяин и его жена тоже молчали. Жались друг к другу дети, испуганные рассказом гостя.

- Когда я очнулась, - вновь, как бы через силу, заговорила женщина, - едва разлепила дрожащие веки, стая мух слетала с моего лица. Надо мной небо, ясное, голубое. Где я? Не пойму. Что со мной было? Не знаю. Голову повернуть нельзя – больно. Хочу встать – не могу: все тело будто свинцом налито. Рукой бы двинуть, ощупать себя, но рука не слушается, и ноги не двигаются, словно чужие. Все чужое, только глаза мои.

Злодеи, изверги... Мне казалось, будто они изрубили меня на части, а потом бросили где-то в степи, за аулом. Долго не могла понять, что со мной. А меня не изрубили. Меня приковали. За руки, за ноги, да за косу к пяти кольям. Били плетью... сколько били, не знаю. И что они еще творили со мной, тоже не знаю. Знаю только, что не рассталась еще с телом злосчастная, проклятая душа моя. Вспомнила я про сына, заплакала горячими слезами. "Где ты, сынок мой", - и застонала. "Эге, ожила, сука!" - сказал кто-то рядом со мной. Посыпались на меня новые удары плетью. Думала, смерть моя пришла.

Гостья посмотрела на хозяйку.

- Вам слушать меня и то страшно, - сказала она. - Твой муж, наверное, уже бежать из собственного дома собрался от страха... А мне какво было? Ладно уж! Покороче стану рассказывать. Через месяц и семь дней меня в тюрьму бросили, холодную, темную, как могила. И вот вышла я из этой могилы. Царь, говорят, от престола отрекся, а меня, слышала, большевики освободили... Не знаю, что за люди. Должно быть, хорошие, раз говорят, что теперь они извергов да палачей в тюрьмы сажать будут... - И она вопросительно глянула на хозяина -

мол, понятно ли это тебе? И тот, дрогнув, отвел от нее глаза.

- Вот и все... Теперь в аул свой бегу... Сыночка найти тороплюсь. Сам-то меня едва ли сыщет.

Она не притронулась к чаю, не попробовала лепешек, приготовленных для нее хозяйкой. Мысли ее улетели далеко. Может быть, в эту минуту она уже представляла себе, как обнимает своего Бахыта, как скажет ему самые заветные ласковые слова. Дети, попрятавшиеся было по углам, постепенно приближались к ней, припадали к ее коленям, не сводя глаз с ее лица. И когда со словами “все для вас”, она ласково коснулась их головенок, они потянулись к ней.

А хозяин не отрывал взгляда от гостьи, уши его малахая были высоко приподняты, он боялся пропустить одно ее слово.

Перед ним сидела женщина – сильная и бесстрашная. Она прошла через все муки своей беспросветной жизни и все выдержала. Перед ним сидела мать, знающая, как надо бороться за свое право быть счастливой.

Перевод И.Саввина



РАССКАЗЫ С НАТУРЫ

КТО СТРЕЛЯЛ В ВОЛКА?

Нас было трое. Министр, ученый и я, писатель. У каждого за спиной тяжелая связка убитых фазанов. Их яркие перья блестят, переливаются на солнце, словно перья павлинов. Фазаны — сплошь самцы. Самок мы не стреляли.

Связки тащим с трудом. Мы набрали на глухое место, где, как видно, и человеческая нога не ступала и где было полно фазанов. Одни после наших выстрелов падали камнем, другие — распутив перья. Были и такие, что попадали чуть ли не прямо в коржун. Охота была удачная. Настолько удачная, что разговоров теперь, надо полагать, хватит на два года.

Нам давно говорили, что в пойме реки Или есть одно тихое местечко, где фазанов видимо-невидимо. И действительно, среди реки было три небольших островка. На них, видимо, за весь год никто не бывал. Здесь рос густой тальник, джида и джингил. Кустарники так переплелись, что невозможно было пройти. А трава — по пояс.

Один из островков находился несколько в

стороне. (Кустарники там перемежались песчаными холмами.) Посреди островка высилась одинокая могучая туранга...

Утомленные, но довольные удачной охотой, мы отправились на этот остров. Ведь настоящие охотники не отдыхают там, где много дичи. Мы тоже решили подальше уйти от соблазна.

Был конец августа, стояла жара.

Мы вошли в теплую воду и медленно побрели к острову. Роста мы все подобрались среднего, один чуть пониже, другой чуть повыше.

Связки фазанов волочились за нами по воде. И мы только сейчас поняли, что немного перестарались. Каждый из нас имел разрешение на трех фазанов. На троих, следовательно, приходилось девять. А настреляли столько, что едва несли. Всем было немного неловко, поэтому мы брели по воде молча.

Первым заговорил министр:

- Кажется, перегнули палку, а, джигиты? Задержат, неудобно будет.

- Ничего. Ночью поедем. Не заметят... - неуверенно ответил ученый.

Я промолчал. Но связка фазанов за моей спиной показалась мне вдвое тяжелее.

Добрались до острова и стали торопливо прятать свою добычу. Ученый проворно вырыл

яму у подножья песчаного холма и закопал своих фазанов. Мы с министром спрятали добычу в кустарник возле туранги.

Настоящие охотники не разжигают больших костров, не дымят бестолку на всю округу. Поэтому мы вытащили термосы и поставили их перед собой. Истинные охотники щедры. Мы тоже раскрыли друг перед другом наши сумки, развязали узелки. Появились красные и белые головки бутылок. Не в правилах настоящих охотников поднимать шум. Поэтому мы тоже разговариваем тихо, сдержанно. Бывалые охотники всегда настороже. Мы тоже начеку. В руках держим чашки, но глазами зыркаем вокруг, и уши слышат каждый шорох.

- Ой-бай, лань! – тихо вскрикнул вдруг ученый и мгновенно припал к земле. Шея его вытянулась и напруглась, глаза лихорадочно и хищно заблестели. Чашка его опрокинулась, по газете растекалась коричневая лужа коньяка.

- Это не лань, это косуля, - прошептал министр и тоже притаился, прижавшись к земле. Его чашка наклонилась, через край ее потекла струйка коньяка.

Я ничего не увидел, но тоже прижался к земле, опрокинув свою чашку с коньяком. Сердце запрыгало в груди.

Не было ни министра, ни ученого, ни писателя. Остались одни охотники.

К водопою через джингиловые заросли прошли три косули. Самка с двумя детенышами. Чуткие и трепетные животные пугливо озираются, словно чуют опасность. Настороженность чувствуется и в поведении детенышей, но их еще не покинула доверчивость и детская шаловливость. Ушки их насторожены, а сами они ласково жмутся к матери.

Один из детенышей вошел по колени в воду, робко обмакнул острую мордочку и поднял голову. Оглянулся, прислушался. Древний инстинкт как будто предостерегал его. Вот козленок снова наклонился к воде...

И вдруг косуля-мать со вторым детенышем прыгнули в сторону и, взметнув песок, мгновенно скрылись за холмом. Из зарослей джингила выскочил огромный матерый волк. Козленок прынул в воздух перед самой мордой хищника. Мы слышали, как лязгнули зубы. Козленок помчался по воде прямо на нас. От страха он сжался в комок и стремительно летел вперед упругими скачками. За ним, поднимая тучи брызг, грузно бежал волк.

Мои друзья схватились за ружья.

- Волка, волка бей, - нетерпеливо зашипели они друг на друга.

Хищник гнался за козленком, приближаясь к нам ближе и ближе. Козленок делал отчаянные двухметровые прыжки, а волк, высунув язык, тяжело гнался за ним.

На берег козленок выскочил уже совсем обессиленным. Волк отстал от него всего метров на пять, но даже не запыхался. Почувствовав под лапами твердый грунт, он понесся быстрее. Расстояние между ним и козленком угрожающе сокращалось.

Козленок, видимо, заметил нас и шарахнулся в сторону, побежал по самому гребню песчаного холма. Волк уже разинул горячую пасть, рычал злобно и глухо, глаза его стали белесыми от ярости, казалось, стоит ему сделать еще один рывок или хотя бы кляцнуть зубами, и не выдержит робкое сердчишко козленка.

Почти одновременно грохнули два выстрела. Козленок чуть споткнулся, перевернулся несколько раз через голову и застыл, зарывшись головой в песок.

Волк шарахнулся в сторону и скоро скрылся за бугром, словно его и не было.

Мы посмотрели друг на друга.

Термосы так и остались неоткрытыми. Каждый молча складывал свои вещи. Мы старательно отводили друг от друга глаза. Хмуρο поплелись к машине. Убитый детеныш косули лежал на песке, вытянув вперед шею, черные выпуклые глаза его медленно тускнели. Никто и не думал его забирать.

С того дня мы, трое охотников, больше не встречались.

ТИМКА

В эту баню я начал ходить еще до войны. Она уютлась в темном тупике и не отличалась чистотой. Кроме того, чтобы помыться, приходилось выстаивать длинную очередь. И все-таки я привык к этой бане. В ней было жарко и уютно.

- Веник есть? — спрашивал я, когда в раздевалке дежурил русский банщик.

- Есть, - отвечал он и молча шел за веником.

Если дежурил старик-уйгур, то в ответ на вопрос, есть ли веник, он отвечал так же коротко: “баг”. Не “бар” и не “бах”, у него получалось какое-то странное слово, которое я не в силах произнести.

Когда же обращался к третьему банщику,

старому казаху, он вообще не отвечал мне, просто молча протягивал мне веник.

Да и о чем было говорить? Каждый давно знал, сколько стоит веник.

Я так привык к этим немногословным разговорам, что считал: в бане и не может быть по-другому.

Тим, Тимоша, Ким, Симка, Дим, Димка... Это все имена одного человека. Никто не знал его настоящего имени. И я не знал. Не знал и не спрашивал.

Это был невероятно худой (в чем только душа держится) болезненный неграмотный человек. Тот самый казах, что каждый раз молча протягивал мне веник.

Я хорошо помню, как он приоткрывал дверь в комнату ожидания, где томились в очереди люди, и хорошо кричал:

- Аден!

Это означало, что один может войти в раздевалку.

- Назат! — кричал он, когда вместо одного в раздевалку вваливались сразу двое: - Назат!

Зайдешь в порядке очереди — возьмет билет, покажет тебе свободный шкаф, нужен веник, даст. Потом обернется к двери:

- Аден!

из наших именитых писателей. Он мне потер спину, я – ему. Помяли, поскребли, потешили друг друга. Довольные, уселись рядом и только было собрались перейти к городским сплетням, как услышали донесшийся из раздевалки крик Тимки: “Назат! Назат!”

И наш разговор перешел на Тимку. Писателю тоже были известны кое-какие странности банщика. Он рассказал, как однажды дал Тимке лишний пятак, и тот молча вернул деньги обратно. Я в свою очередь рассказал, как Тимка взял у меня займы. Мы безобидно от души посмеялись.

Но вдруг писатель оборвал смех и подозрительно спросил:

- Ты почему мне об этом рассказываешь? Или пронюхал, что я тоже собираюсь просить у тебя займы?

- Да что ты! Тебе-то зачем занимать? У тебя же книга в тридцать листов выходит.

- Задерживают... Месяцев на пять.

- Ну что ж, пожалуйста. Сколько тебе надо?

- Двести.

- Хорошо, заезжай завтра.

- Только ты не подумай, что я, как этот банщик, - сказал он, - займу – и с концом, будто знать тебя не знаю. Как выйдет книга, тотчас верну.

Спустя несколько дней я уехал из города по делам и месяцев пять в этой бане не был.

А когда осенью пришел туда, старики-банщики, русский и уйгур, поглядывали на меня и загадочно посмеивались. Тимки не было. Я спросил, не случилось ли с ним чего.

- И не спрашивайте, смех один...

- Что такое?

- Тимка в начале месяца ушел в отпуск...

- И теперь каждый день моется в бане. Вот смех-то...

- А по субботам и понедельникам торчит в бане с утра до вечера, - смеясь, рассказывали банщики.

- Зачем же он сюда приходит? - спросил я.

- Вас все хочет увидеть.

- Дело есть, говорит.

Видно, очень уж забавным казалось старикам, что у бессловесного Тимки может быть к кому-то дело.

- Сегодня ведь понедельник. Сейчас прилетится.

Не успели старики вдоволь посмеяться, как, действительно, волоча ноги, пришел Тимка. Старики мигом перестали смеяться и отвернулись. Но переглядывались. Очень уж им было интересно, какое у Тимки ко мне дело.

И на этот раз не поздоровался со мной Тимка.

Подошел, сунул куда-то за пояс брюк три пальца, вытащил что-то круглое, твердое, свернутое точно пробка от пузырька для насыбая, и вложил это мне в руку. Я подумал, что это или заявление, или письмо, развернул и увидел две склеившиеся липкие пятирублевки.

Должно быть, я покраснел, но Тимка даже не взглянул на меня. Отвернулся и пошел прочь.

- Ти... постой-ка! — окликнул я его.

- Сейчас, - ответил он и куда-то побежал.

Я опустился на лавку, продолжая держать в руке засаленные потные пятирублевки. Они все еще были теплые.

Ко мне подошли старики-банщики, русский и уйгур, и с любопытством поглядывали на меня.

Я сидел и не знал, что им ответить.

Скоро вернулся Тимка. Но уже радостный, счастливый, с широкой улыбкой на изможденном лице.

- Ну-ка, садись тут, со мной, - пригласил я его. Но Тимка сесть отказался. Он протягивал мне еще какую-то мелочь.

- Вот, агай, остальные...

Трудно было заставить Тимку разговаривать. Еще труднее было уговорить его взять деньги обратно. Я долго объяснял ему, что дал эти деньги вовсе не взаймы, а просто так, потому что они

были ему нужны. Но он только качал отрицательно головой. Я старался силком всунуть эти злосчастные бумажки ему в руку, но он не разжимал ладоней. И бумажки упали на мокрый пол, а медяки, глухо позванивая, раскатились, разбежались по всем углам. Что я мог с ним поделаться? Я вскочил, обнял его за плечи.

- Родной мой, дружище! Если не возьмешь деньги, я на всю жизнь обижусь. И больше никогда не приду в эту баню. Ты просто не уважаешь меня...

Помню, я не жалел тогда слов, чтобы уговорить Тимку, этого робкого, тихого банщика.

Наконец он согласился и взял деньги.

Успокоенный я пошел мыться.

Ошпарив кипятком свой веник, я зашел в парную и тут увидел своего знакомого писателя. Распаренный, красный, он яростно стегал себя веником, удобно устроившись на верхней полке. Меня он сразу заметил. Заметил и отвернулся.

Я не стал его смущать. Даже не подошел к нему.

Иногда хорошо, если в бане темно... Хорошо, когда парную заволакивает густой пар. Мой должник "незаметно" прошмыгнул в предбанник. И пока я мылся, успел уйти. С тех пор, встречаясь со мной, он торопливо проходит мимо и не замечает меня. Видимо, не узнает...

АМИНА

Никто не знал, что происходило на горном озере Егиз-Куль.

Небо было ясным и безоблачным, солнце щедрым и горячим.

Лишь недавно спал поток машин с людьми, которые хотели провести воскресный день на высокогорном озере. Отдельные машины еще и сейчас поднимались по горной дороге.

Но было как-то беспокойно. Смутно угадывалось непонятное напряжение во всем. Сороки и вороны внезапно всполошились, подняли такой гвалт, будто не находили себе места. Они громко хлопали крыльями, стаями поднимались в воздух, тревожно носились по склонам гор.

Амина возилась с ребяташками и ничего этого не замечала. Один малыш радовался, что подпрыгнул выше, чем другой, и вместе с ним надо было радоваться воспитательнице. Другой внезапно захныкал, потому что в сандалии ему попали камешки, и воспитательница хмурилась, словно ей тоже было больно. А тут у какого-то неудачника упорхнула бабочка, и надо было ему помочь снова поймать ее.

Быстро летели дни. Амина любила детей, придумывала для них интересные сказки, игры.

Некогда было скучать ей, матери сорока детей.

День обещал быть светлым и радостным. Еще вчера малыши перед сном спрашивали:

- Амина-апай, а что завтра будет?

С веселой, доброй и чуткой Аминой малыши вовсе не вспоминают о своих родителях. Всем им она – ласковая, внимательная, заботливая мать. Она помнит, когда, где и кто из них занозил палец или ногу. И радостно, ох, как радостно малышам, когда Амина-апай улыбнется им, похлопает кого-нибудь по спине или скажет доброе слово.

Малыши эти – дошколята. Их детский сад далеко от районного центра. Голубое здание с открытыми верандами стоит вблизи водопада. Вокруг большой фруктовый сад. Сладким соком налились яркие вишни. А яблоки еще зеленые.

Все сорок два малыша играли сейчас в саду.

Откуда-то сверху, со стороны Егиз-Куля долетел смутный гул. Амина оглянулась. Ей показалось, что внезапно налетел порыв сильного ветра. Но ни один листок на деревьях не шелхнулся. А гул все нарастал, нарастал и вдруг перешел в оглушительный грохот. Земля мелко задрожала.

Дети бросили игры и сбились в кучу, словно

испуганные ягнята. Некоторые заплакали. Все стали звать воспитательницу.

Амина поняла, что в горах творится что-то неладное, и кинулась к ребятишкам.

- Не бойтесь, не бойтесь, - успокоила она их. - Ничего страшного нет. - Над головами малышей мелко дрожали сережки вишен. В воздухе стоял невнятный напряженный гул. Казалось, кто-то пытался сдвинуть с места горы. Небольшое озеро, что находилось выше водопада, вдруг покачнулось, закипело и опрокинулось, словно каменная чаша. Вода хлынула вниз, поглотила водопад. Камни величиной с дом нехотя тронулись с места и с грохотом покатались, увлекаемые водой.

Вода все быстрее разгоняла их, и они неслись впереди разъяренного потока, словно черные яки, обезумевшие от ужаса. Иногда вода захлестывала и перегоняла их. Но камни вскоре снова вырывались вперед и с гулким стуком перегоняли густо-коричневый пенный поток.

- Эй, что стоишь? Беги! - крикнул кто-то Амине.

Она обернулась и увидела, как от кухни побежали повара - две женщины и один мужчина. В руках у женщины был половик,

один из поваров прихватил с собой дуршлаг, другой – баранью ляжку.

Кухня находилась на берегу реки. Яростный поток уже почти достигал ее. И люди бежали без оглядки, только развевались их белые халаты. Вот они уже скрылись за холмом.

Амина повела детей к дороге.

А вода уже вырвалась из берегов и неотвратимо потянулась к голубому домику.

Со стороны Егиз-Куля на большой скорости приближались две легковые машины. Амина стала у обочины и подняла руку. Машины, не сбавляя скорости, вихрем пронеслись мимо. В них не было никого, кроме шоферов.

“А где же хозяева этих машин?” – с тревогой подумала Амина.

Вот появился “газик”. Она снова подняла руку.

Видать, в машине был сознательный человек, остановился. И сразу позвал:

- Мира! Беги сюда! Скорей! Мира!

Встряхивая кудряшками, побежала к отцу девочка. Он поднял ее и усадил в машину.

И тут взмолилась Амина:

- У вас же свободно... Заберите хоть десяток малышей...

- Дом наш... дом затопляет. Спешу! Некогда! Сейчас будет проходить наша машина, грузовая,

девятнадцать-сорок. Останови, скажи, что я разрешил. Поняла?

“Газик” рванулся с места.

Теперь машины пронеслись одна за другой. Амина уже не опускала руку. Но ни одна из машин не остановилась. Были и грузовики с детьми, со скарбом, стульями, столами. Легковые почти все были пусты. Но как их остановить? Люди обезумели. От страха у них лезли на лоб глаза.

А вода подходила все ближе и ближе. В низинах она уже перебралась через дорогу, и там, где был асфальт, кружились пенные воронки.

Амина повела детей на придорожный холмик. Они стояли там рядышком, словно куколки.

Теперь не только она, но и дети тянули руки, кричали, просили... Но ни одна машина не останавливалась. Люди словно обезумели.

Вот друг за другом мчатся три грузовика. Амина встала посреди дороги, подняла руки. Водители издали заметили ее и принялись сигналить. Но Амина не двигалась с места.

И когда машины были уже совсем близки, она легла на дорогу. Вот машины уже в двадцати метрах... Амина закрыла глаза.

И передняя машина, захлебываясь ревом, осела, вздыбилась, но колеса, пыльные, неподвижные,

в бороздках и полосах, словно спины гигантских змей, угрожающе надвигались.

Резкий запах горелой резины ударил Амине в нос, но она не шелохнулась.

- Сволочь!

Она открыла глаза и увидела высунувшегося из кабины шофера.

Малыши бросились к воспитательнице, окружили ее.

У шофера нервно прыгали мускулы лица, а глаза были совершенно белыми.

- Ну, встань же, садись скорей!

По искаженному лицу шофера катились слезы, зубы звонко выстукивали мелкую дробь.

Малыши полезли в кузов. Скоро машина была в райцентре.

Перевод Г. Бельгера и В. Новикова.



ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО РОДНОМУ НАРОДУ

“Не хватит ли, если проживу еще два года?” – сказал я как-то другу Габидену, недавно только ушедшему из жизни. Этот расчет сбывается. Вот и собираюсь уходить в объятия холодной, священной земли.

Подытоживая свою долгую жизнь, прошедшую в надежде, борьбе и вере, вижу: было в ней вдоволь и радостей, и огорчений. Высокое знамя нового Казахского государства было поднято на моих глазах. Сегодня мы превратились в страну, на которую обращены взоры всего мира. Однако прошу не забыть, что если не будет великим литература и искусство, то и нация не будет считаться великой. Где нет духовного единства, там нет и сознательной жизни. Из-за этого иногда медь уподобляется золоту, орел - вороне. У большого искусства должен быть большой, чистый характер. От имени родной казахской литературы, в основании фундамента которой сам участвовал, от имени уважаемой вами могучей кучки («алыптар тобынын») прошу: провожая меня в

последний путь, вспомните это мое последнее пожелание.

Не имея силы удержать ручку, это письмо диктовал Алжаппару и Мухтару.

А теперь прощайте, мой святой народ, земля моя, неразлучные друзья-товарищи, родня, лучезарное молодое поколение, прощайте!

Перевод К. Муканова



ЛЕТОПИСЕЦ ЭПОХИ

Родившийся в самом начале века и закончивший жизненный путь несколько лет назад выдающийся писатель, “последний из могикан” казахской советской литературы Габит Махмудович Мусрепов является как бы свидетелем богатого событиями нынешнего столетия.

Он не дожил до нынешних катаклизмов, до крушения империи; но и его время не было бедным в смысле исторических сдвигов. Это касается также художественно-культурного бытия того времени. В предисловии к 3-томнику 1980 года издания он признается, что всего на два года моложе своего века, и этот век не сравним ни с какими предыдущими веками по значимости и по богатству событиями. “Я был свидетелем 60-летней истории Казахстана, особенно литературно-культурной жизни, - пишет он, - я двадцать лет находился в гуще тех людей, которые руководили советской литературой...”

Действительно, если советская литература должна была отражать советские реалии, то такие ее крупные представители, как Габит Мусрепов, не составляли исключения. Если взять советскую эпоху в целом, то писателя вполне можно назвать

ее летописцем. Маститому писателю ведь тем более полагалось быть верным помощником партии, всемерно развивающим советскую литературу, а, стало быть, воспевать, опозитизировать новую жизнь, и, естественно, приближать коммунистическое завтра, видеть, понимать мир только через призму коммунистической идеологии. Он, состоявший около 60 лет в рядах партии, проводивший ее политику во всем, в том числе и в области художественного творчества, не раз возглавлявший Союз писателей в Казахстане и в Москве, как говорится, пропитанный партийным “вдохновением”, Герой Социалистического Труда, должен был и в собственном творчестве следовать этому порядку.

Вспоминая крупные имена, такие, как Фадеев, Тихонов, Сурков, даже вчерашнего Маркова, думаешь об их драматическом времени, но и в то же время об их твердой вере в свою правоту, их воле бороться до конца. А С.Сейфуллин, С.Муканов в казахской литературе? Они также были настоящими солдатами революции и революционной литературы. Естественно, так же думал, действовал и Г.Мусрепов. К лету 1985 года, помню, он с удовлетворением говорил о М.Горбачеве, вспоминая его выступление в

Ленинграде. Дальнейшее его многословие он не видел, не слышал: умер в самом конце 1985 года, иначе он бы изменил свое мнение об этом очередном вожде. Да, так было вчера.

Естественно, как всякий истинно думающий человек, особенно доверяющий свои мысли перу и бумаге, он не мог не размышлять о беге времени, о судьбе народов, поколений, о далеком прошлом и о настоящем. Одно дело быть недовольным той или другой политикой, проводимой в стране, другое дело подвергнуть сомнению саму основу уклада, миропонимание. С последним у Г.Мусрепова все было на уровне. И, все бы хорошо, но вот, как говорил в свое время А.К.Толстой, “Земля наша богата, порядка в ней лишь нет”. Теперь начинаем понимать, что порядка в стране не было потому, что вообще мы шли по ложному пути, исповедуя ложные идеи. Писатель верил, что при умном руководителе, вожаке страна выйдет из коррупции, кризиса, тупика. Начало нового мышления он понимал как начало улучшения экономики, народной жизни, но никак не крушение всей большевистской политики.

И вот, перебирая произведения писателя, волей-неволей обращаешь внимание на то, что же он все таки писал, и как писал. Без этого

совершенно невозможно определить облик художника слова, если он действительно таковым является. Особенно это необходимо в настоящее время, когда отрицается все и вся.

При всей приверженности “политике партии в области художественной литературы” Г.Мусрепов – писатель, стоящий особняком (например, таким же образом можно говорить и о М.Ауэзове). Пишет критически, подвергая сомнению или легкому юмору, а иногда острой сатире все то, что видит и слышит: или анализирует те или другие действия, поступки, совершающиеся в процессе нового жизнеустройства.

Уже в первых рассказах и повестях, таких, как “На волнах жизни”, “Кос-шалкар”, “Первые шаги”, “Тупорылая” и другие, он вроде бы пишет о зачатках новой жизни в казахском ауле, – об обобществлении скота и другого имущества, о тракторе и сохе, естественно, о людях, орудующих этим всем техинвентарем. Но прежде всего его занимают нелепости, несуразности многих нововведений. Например, какая нужда чисто казахскому колхозу “Жана жол” вдруг перейти на выращивание свиней (“Тупорылая”, 1933), когда здешние колхозники на километр бегут от них, не знакомы с их норовом и тем, как и чем их кормить, где и как пасти. Но сверху спущен

план: наряду с четырьмя видами скота чтоб был и пятый – для полной картины. И вот новообразованный колхоз довел их число уже до тридцати. В начале идет такой диалог: “Это животное? Русские считают животным. Рыло-то какое тупое. Да, рылом не походит на животного. Копыта раздвоены, как у овцы. Прекрати, не сравнивай с овцой... Как, интересно, окликают их? Шоге, шоге, что ли, как коз? Нет, как же, они ведь по-казахски еще не понимают, прибыли ведь только что”. В рассказе “Шугла” (1933) люди гоняют одну облезлую, когда-то черную корову из колхоза “Алып” (“Гигант”) в колхоз “Терис аккан” (“Противоположный”), а в повести “Первые шаги” (1930) идет колхозное собрание и, такие там выступления: “Чуть что, винят всех нас в байстве, обзывают муллой. Теперь-то видим, кто друг, а кто враг наш. Говорили: колхоз принес черную беду, кошму юрты перережут на подседельники, шанраки на дрова, ведь все сбылось – закончил речь один из присутствующих, нещадно жая языком баскарму”.

Да, все эти повести и рассказы конца 20-х – начало 30-х годов отражают тогдашнюю жизнь, но без бахвальства, без трескотни (которые были присущи многим рассказам, стихам других

пишущих), а реалистически, с критическим взглядом.

Романы “Солдат из Казахстана” (1944), “Пробужденный край” (1952), повесть “Улпан” (1974), роман “В чужих руках” (вторая книга романа “Пробужденный край” – 1984), трагедии “Козы Корпеш – Баян Сулу” (1939), “Акан сери – Атокты” (1942) – главные произведения писателя, отмеченные печатью глубокой художественности и мудрости.

Роман-диалогия отражает жизнь казахской степи XIX и начала XX века. Он входит без всяких скидок в золотой фонд истории казахской литературы. Удивительно, что Г.Мусрепов, работая непрерывно, создавая много новых пьес, либретто, рассказов, очерков, переводов, не оставлял заветного желания закончить вторую книгу “Пробужденного края”. И он это сделал – она вышла в свет через 30 с лишним лет под названием “В чужих руках”. Хотя в конце романа показан сход народа с красным знаменем и словами “Ленин”, “Петроград”, “большевики” – небольшой эпизод в панорамной жизни всего края – вторая книга в целом логически, реалистично, достойно завершает замысел автора показать перипетии большой и трудной жизни казахов на огромном субконтиненте, терпевших

притеснения в тисках царского колониализма. Это действительно достойное повествование мастера, воскресившее эпохальную жизнь степи.

Примечателен такой разговор между царским ставленником — уездным начальником Никулиным и главным героем романа “В чужих руках” Кенжегарой:

- Как вы полагаете, казахи действительно руководствуются в своих действиях законами России или больше полагаются на свои устаревшие уложения, или же превалируют религиозные убеждения?

Кенжегара ответил:

- Действуют все три попеременно, меняясь местами. Причем не по договоренности, а исходя из надобности. Часто бывает так, что один подход побеждает другой или наоборот. Иногда действуют вместе оба варианта, но никогда все три вместе не выступают.

-Да, сложно понять.

- Не без этого. Казахский народ волей-неволей завершил свое подчинение России. Теперь никто не думает жить отдельно от России. Это историческая правда. Кочевой народ не может прожить без базара. Бывает, что законы базара зачастую превосходят законы России. Что касается внутренней жизни казахов, то ею

управляют потомки Чингисхана – султаны, главы родов. Земля, вода в их руках. Вы даже не знаете, как ваша воля порою в силу этого приносится в жертву, вы даже не узнаете об этом, если узнаете, то не поверите.

-Казахские ханы и султаны прямые наследники Чингисхана?

- Именно те, кого вы именуете казахскими ханами и султанами – они все прямые потомки Чингисхана. Что плохого приписывают казахам – это все результат их деятельности. Скажите сами, когда бывало, чтобы русское правительство напрямую вело разговоры с рядовыми казахами, когда оно вступало с ними в договоры и когда они не выполнялись или оно было обманутым” (подстрочный перевод мой – М.Б.).

Здесь можно увидеть свое понимание истории Г.Мусреповым и кредо его. Речь идет не столько о чингизидах, которые еще в средневековье “заменены” казахами, сколько о свирепых правителях вообще.

Г.Мусрепов особое явление, если говорить о нем, имея в виду такие категории, как язык, слог, мастерство, художественность. Представляя его в плане, всегда приходится размышлять о состоянии и перспективах казахского художественного слова. Это объясняется, во-

первых, тем, что сам облик писателя и место, которое он занимает в истории казахской литературы, значительны в смысле требовательности к слову. Во-вторых, говорить об этом в связи с творчеством Г.Мусрепова — это значит осознать, действительно понять те качественные сдвиги, успехи и достижения, которые свидетельствуют о современном уровне нашей словесности, но также и признать ту ответственность, которая обязывает нас не забывать и о крупнейших творческих задачах, пока еще не осуществленных и даже трудно решаемых.

Но мы знаем: опыт наш солидный. Наряду с Г.Мусреповым на ниве художественной литературы трудились Б.Майлин, М.Ауэзов, а немного раньше Магжан Жумабаев, Мир-Якуб Дулатов и, надо сказать, поставивший на ноги казахскую прозу Жусупбек Аймаутов, перед талантом которого благоговел Г.Мусрепов. Конечно, первым всегда трудно, первые всегда первооткрыватели, хотя после может родиться лучшее, значительное. Простор и цену слову, художественному творчеству дали последующие искания, когда в обществе, хорошо ли, плохо ли был развит определенный интерес к национальным культурам.

И когда Абай призывал, “слово теперь я скажу

иное, вслушайся и исправься, слушатель ты тоже”, он, наверное, имел в виду наше время. Родилось действительно новое слово и слушатели новые. Надо было теперь не просто пересказать всю историю народа, надо было создать ее заново, надо было разжечь тлеющий огонек в тлеющей памяти. Теперь мы свидетели сотворенного нашим освобожденным разумом света, разорванной когда-то, но воссоздаемой теперь истории. Мы снова слышим голоса веков, вновь восхищаемся их творениями.

Г.Мусрепов, шагая десятилетиями вместе со своим народом, создал непреходящую по своему значению галерею образов, типов, характеров. В них запечатлелись действительно присущие казаху искорки ума, души, образ мышления, представления. Рассказы и повести, вобравшие в себя горьковские традиции, например, о матери, о женщине, солдат из Казахстана Каиргали Смагулов или радость писателя, выразившаяся в его публицистике “Приятные вести с фронта”, поэма об Еркебулане - Сакене Сейфуллине, Улпан, отважная казахская женщина и дочь Кипчака Аппак, соединившая свою судьбу с великим Низами – все они в нашей памяти, все они крупные достижения казахской литературы.

В последние годы жизни писатель работал

особенно интенсивно. Высшим результатом, конечно, оказался, упоминавшийся выше роман “В чужих руках”. Наряду с эпопеей “Путь Абая” М.Ауэзова, о достоинстве и новизне которой в свое время емко и эмоционально говорил сам Г.Мусрепов, дилогия “Пробужденный край” по праву может считаться новым словом литературы. Вобрав в себя абаевское время, роман дал развернутую картину казахской степи, с ее социальной и национальной неустроенностью, разнообразием судеб и чаяний. Не о том же разве горевал великий Абай! Этот роман, прежде всего —художественная летопись народа. Литературный, научный анализ романа, начатый давно, еще долго будет продолжаться. Это наше достояние и, я думаю, обращаться с ним будем бережно.

Всякое искусство, естественно, рождается в муках. Создатель отдает ему всего себя. К тому же, если иметь в виду, что искусство прежде всего оценивается качеством, то ясно, чтобы достигнуть его, надо трудиться честно и упорно. В этом плане произведения Г.Мусрепова дают для изучения интереснейший материал. Что при этом обращает на себя внимание? Это, наряду с прекрасной конструкцией, мастерским подбором нужных слов, - емкость понятий, смысла,

нагрузка, которую несет каждая фраза. Для писателя это значит избавиться от слов-паразитов, от слов, фраз, не работающих на основную идею произведения. Именно поэтому рассказы писателя емки, точны, при относительно небольшом объеме.

Современные литераторы знают, какое внимание уделял он собратям по перу, особенно представителям более молодого поколения. Те, кого это коснулось, теперь сами твердо стоят на ногах. Но забота учителя, устаза, я думаю, у них у всех в памяти.

В этой связи мне вспоминаются слова, сказанные Г. Мусреповым в день 60-летия крупного поэта Гали Омарова 20 ноября 1967 года: “Да, мы жили в период Октября, росли и развивались вместе с ним. Мы считаем себя счастливыми. Мы готовы защитить молодежь от зноя, чтобы солнце не припекало, мы готовы встать с наветренной стороны, чтобы буран не обжигал лицо. Но и им не следует все время стремиться в тихую заводь.

Я с удовольствием отмечаю, что некоторые молодые уже делают самостоятельные шаги в литературе. По сути дела, мы все ученики старших братьев по перу. И Сабит, и я, тот же Габиден, и Абдильда, и Гали, и Дихан являемся учениками,

в лучшем случае, продолжателями того, что было основано, сделано Мухтаром Ауэзовым, Сакеном Сейфуллиным, Беймбетом Майлиным, Ильясом Джансугуровым. При всей обособленности, индивидуальности одна характерная черта объединяет всех нас: мы все же продолжаем, развиваем то, что было до нас. В настоящее время, как я наблюдаю, развивается новое поколение, которое начинает в литературе нечто новое, свое; оно мыслит, ищет, творит. К нему я отношу Тахави Ахтанова, Абдижамила Нурпеисова, Зейнуллу Кабдулова, Олжаса Сулейменова и других. Не отказываясь от традиции, традиционного они вкладывают в литературу совершенно другое, новаторское. Это и правильно. Ибо простое повторение того, что уже было, не есть развитие, это эпигонство. Тут наверное, сыграли и сыграют роль новые времена, новые задачи...”

Да, слова точные, весомые. Но и в то же время мы помним: его поддержка молодежи, забота о ней не выражалась похлопыванием по плечу, а строгим ответственным отношением.

Наряду с этим, конечно, следует осознать, что много надо поработать, чтобы держать нашу литературу на уровне. И в настоящее время мы должны быть далеки от радужного настроения,

от бахвальства. Надо серьезно совершенствовать наше художественное ремесло. Лавина слов, которая на нас обрушивается, оглушает, слабость художественной ткани, приземленность персонажей, их желаний, видны невооруженным глазом.

На грамм радия – тонны словесной шелухи. Если мы не поведем об этом правдивого и справедливого разговора, то самое понятие о художественности, мастерстве, которое нам завещал Г.Мусрепов, перестанет быть первоэлементом всякого искусства. Правда, большинство это понимает и кажется, оно готово работать в этом направлении, что весьма утешает.

Г.Мусрепов как большой писатель и как личность – человек, сыгравший выдающуюся роль в истории казахского народа. Пишет ли он письмо протеста И.Сталину в числе пятерых в начале 30-х годов о бедствиях, трагедии казахского народа, выступает ли в защиту Б.Майлина в годы репрессий, лишается ли за это партийного билета в 1938 г. (К сожалению, без стеснения и покаяния живут среди нас, так сказать, “добравшиеся до правды”, то бишь до академических званий, люди, которые обоймами предавали своих же коллег, с пеной у рта доказывая доносами, а также и печатно, что С.Сейфуллин, И.Джансугуров

Б.Майлин и другие “фашистские наймиты”, “японские шпионы” и, что они должны быть уничтожены), отвергает ли национализм, приписанный деятелям казахской культуры в начале 50-х годов, представляет ли казахскую и советскую литературу на мировой арене – всегда оставался сыном своего народа, своей земли. И все это, как и богатое художественное наследие возвеличивает его имя в глазах современников – граждан Республики Казахстан.

МУСЛИМ БАЗАРБАЕВ,
доктор филологических наук





Встреча с хлебом, солью



В родном ауле



В родном ауле



Автограф на память! 1972 г.



Вручение диплома «Почетный гражданин» г. Петропавловска

Содержание:

Слова о Габите Мусрепове.....	5
Афоризмы Г.Мусрепова.....	7
Г.Мусрепов. Автобиографический рассказ.....	9
Г.Мусрепов. Материнский гнев.....	73
Г.Мусрепов. Рассказы с натуры.....	84
Г.Мусрепов. Последнее слово родному народу.....	102
М.Базарбаев. Летописец эпохи.....	104
Г.Мусрепов на родине, среди родных (фотографии).....	119

МАСТЕР ЧЕКАННОГО СЛОВА
100 лет со дня рождения Габита Мусрепова.

(Биографические сведения и избранные произведения).

Редактор Б.Кожаметов.
Ответственный за выпуск: К.Муканов.

Петропавловск – 2002.
ISBN 5-7667-9717-6
Петропавловск-2002
Северо-Казахстанская область
Центр “Асыл мұра”

Редактор Б. Кожаметов.
Ответственный за выпуск: К. Муканов.
Подготовила к выпуску: Н.Байтенова.
Корректор: К.Муканов
Оформитель-дизайнер: О.Ледовских

Сдано в набор 14.05.2002 г. Компьютерный набор.
Подписано в печать 23 мая 2002 г. Формат 60x84/
32. Печать офсетная. Усл. печ. л. 3,9. Тираж 500
экз. Заказ 2517.